

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Уральского отделения
Российской академии наук

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 17

Выпуск 4

Екатеринбург – 2017

Главный редактор

Виктор РУДЕНКО, директор Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф.

Заместители главного редактора

Философия, политическая наука: **Виктор МАРТЬЯНОВ**, заместитель директора по научной работе Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. полит. наук, доц.

Право: **Валентина ЭМИХ**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук

Международный редакционный совет

Алексей АВТОНОМОВ, директор Центра сравнительного права НИУ – Высшая школа экономики (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Хоакин Х. АЛАРКОН**, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Армандо С. ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания) д-р права, д-р полит. наук; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Ольга МАЛИНОВА**, проф. МГИМО-Университета, (Москва, Россия) д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Юрий ПИВОВАРОВ**, научный руководитель ИНИОН РАН (Москва, Россия), академик РАН, д-р полит. наук, проф.; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

Редакционная коллегия

Философия: **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, зав. кафедрой философии и политологии Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук.

Политическая наука: **Олег ПОДВИНЦЕВ**, зав. отделом политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.

Право: **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, профессор Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Павел КРАШЕНИННИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д. юрид. н., проф.; **Наталья ФИЛИППОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), «КиберЛенинку», базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI), а также входит в международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS.

Учредитель

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Издается с 1999 г. Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России». Т. 1. «Газеты и журналы» 43669. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации

ПИ № ФС77-29547 от 14 сентября 2007 г.

ISSN 1818-0566 (Print); ISSN 2312-5128 (Online)

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>

**INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

**RESEARCH YEARBOOK
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

Volume 17

Issue 4

Ekaterinburg 2017

Editor-in-chief

Viktor RUDENKO – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Deputy Editor-in-chief

Viktor MARTYANOV – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Valentina EMIKH – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

International Editorial Council

Alexei AVTONOMOV – Center for Comparative Law, Higher School of Economics (Moscow, Russia);

Joaquin H. ALARCON – University of Murcia (Murcia, Spain);

Armando S. DURAN – University of San Pablo (San Pablo, Spain);

Alexander KOKOTOV – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia);

Vladislav LEKTORSKY – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);

Olga MALINOVA – MGIMO University (Moscow, Russia);

Mikhail MALYSHEV – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico);

Yuri PIVOVAROV – Institute of Scientific Information on Social Sciences, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);

Thomas REMINGTON – Emory University (Atlanta, USA);

Cameron ROSS – University of Dundee (Dundee, UK);

Richard SAKWA – University of Kent (Kent, UK);

Saskia SASSEN – Columbia University (New York, USA);

Carole SIGMAN – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center for Scientific Research (Paris, France).

Editorial Board

Vladimir DIYEV – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia);

Yuri ERSHOV – Ural Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Ekaterinburg, Russia);

Elena STEPANOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Elena TRUBINA – Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia).

Oleg PODVINTSEV – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Perm, Russia);

Olga POPOVA – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);

Sergey POCELUEV – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia);

Olga RUSAKOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Oleg ZAZNAEV – Kazan Federal University (Kazan, Russia);

Mikhail KAZANTSEV – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Sergey KODAN – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia);

Pavel KRASHENINNIKOV – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Natalia FILIPPOVA – Surgut State University (Surgut, Russia).

The journal is recommended by the Russian Ministry of Education and Science for publication of scientific results of doctorate theses. It is indexed and referenced in RSCI, Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS; it is included to the RSCI database on the Web of Science platform.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

- Рябушкина Т.М.* Идея восприимчивости к иному
в трансцендентально-феноменологической традиции:
от отрицания к переосмыслению.....7
- Политов А.В.* Сравнительный анализ понятий
семантического мира В.В. Налимова и хронотопа М.М. Бахтина.....24

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

- Мочалов А.Н.* Территория, этничность и феномен
«многонациональных» государств.....33
- Дуран А.С.* Испанский либерализм XIX века:
от идеалов национального суверенитета к конституционализму53

ПРАВО

- Костокрызов П.И.* Юридическая антропология в поисках парадигмы81
- Рыков А.Н.* К вопросу о негосударственной сущности
органов местного самоуправления..... 100
- Руденко В.Н.* Делиберативная демократия
в аксиологии защиты прав человека 115

C O N T E N T S

PHILOSOPHY

- T. Ryabushkina.* The idea of receptivity toward alterity
in transcendental-phenomenological tradition:
from negation to reconsideration7
- A. Politov.* Comparative analysis of V.V. Nalimov's concept of semantic world
and M.M. Bakhtin's concept of chronotope24

POLITICAL SCIENCE

- A. Mochalov.* Territory, ethnicity, and phenomenon of multinational state33
- A.Z. Durán.* Spanish liberalism of the XIX century:
from ideal of national sovereignty to constitutionalism53

LAW

- P. Kostogryzov.* Legal anthropology in search for a paradigm81
- A. Rykov.* On the issue of non-state nature
of local self-government bodies 100
- V. Rudenko.* Deliberative democracy
in axiology of human rights' protection 115

ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY



Рябушкина Т.М. Идея восприимчивости к иному в трансцендентально-феноменологической традиции: от отрицания к переосмыслению // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4, с. 7–23.

УДК 165.12

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.723

ИДЕЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ИНОМУ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО- ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: ОТ ОТРИЦАНИЯ К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ

Татьяна Михайловна Рябушкина

кандидат философских наук,
доцент Школы философии Факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Россия, г. Москва.
E-mail: ryabushkinat@yandex.ru

Материал поступил в редколлегию 17.01.2017 г.

Восприятие познающим субъектом не зависящей от него реальности, несмотря на историческое первенство и соответствие интуиции обыденного сознания, в процессе развития феноменологической теории познания утрачивает значение источника новизны содержаний сознания и основы всякого приобретенного знания. Поводом для отрицания восприимчивости является невозможность установления соответствия между *несвязанными* чувственными данными и понятиями, выполняющими функцию *единства*. Полагание исходных связей результатов восприимчивости также не решает проблему познания «самих вещей», поскольку эти связи отличны от связей воспринимаемых вещей.

Отрицая восприимчивость к иному, феноменологи объясняют *разнообразие и новизну* явлений двумя альтернативными способами. Первый из них – это утверждение,

что вещи мира с их неизвестными и лишь постепенно открываемыми во времени горизонтами образуются в результате *пассивного* синтеза (Э. Гуссерль), а второй – утверждение, что условие познания заключается в изначальной открытости бытия (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти). Гуссерль отрицает восприимчивость, поскольку для него феноменология должна быть *эгологией*, то есть должна находить исчерпывающее объяснение мира в самой субъективности. Согласно Гуссерлю, результаты пассивного синтеза, с одной стороны, являются продуктами субъективности, а с другой – образуют поле предметов, преданных активному эгологическому синтезу и обуславливающих его возможность.

Автор утверждает, что гуссерлевская *постановка вопроса* о том, что именно в субъективности следует искать основание нашего сознания мира, оказывается верной. Концепции, постулирующие изначальную открытость сознания для иного, упускают из виду этот важный момент и в результате сталкиваются с принципиальными трудностями. Что касается предлагаемого Гуссерлем *решения* проблемы, то оно также не приемлемо. В процессе исследования выявляется необходимость нового обращения к понятию восприимчивости и переосмысления его таким образом, чтобы оно могло стать рабочим «инструментом» трансцендентально-феноменологической теории познания.

Ключевые слова: трансцендентальная философия, феноменология, восприятие, субъективность, восприимчивость, миф о данных, пассивный синтез.

Феноменология Э. Гуссерля трактует сознание как единственное смыслообразующее поле, благодаря которому нам дан мир со всеми его составляющими и их связями. Гуссерль выступает с критикой идеи о присущей субъекту познания *восприимчивости к тому, что существует независимо от сознания*. В дальнейшем понятие восприимчивости связывается с «мифом о данных» [Sellars 1997], утверждающим существование первичных составляющих нашего знания, которые не предполагают предшествующей им познавательной деятельности со стороны субъекта, не относятся к сфере субъективного сами по себе и лишь подлежат субъективному «оформлению». Но действительно ли понятие восприимчивости необходимо отнести к «мифологической», навсегда ушедшей эпохе философии? Следует ли считать *смысловую целостность* восприятия чисто сознательным образованием, не предполагающим отношения сознания к иному? Ответу на эти вопросы и посвящена данная работа.

Прежде всего необходимо вспомнить, что уже исходная феноменологическая постановка вопроса о сознании Д. Юмом требовала рассмотрения восприятий в качестве существующих самостоятельно, независимо от породивших их причин. Она актуализировала проблемы, ответом на которые стала философия Канта, отводившая восприимчивости, в противовес спонтанности, значительную роль. Нельзя не заметить также, что многие влиятельные феноменологи (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти), признавая убедительность критики Гуссерлем «чувственной данности», не последовали за ним в утверждении смысловой замкнутости сознания и попытались преодолеть ее, не возвращаясь к понятию восприимчивости, но постулируя *изначальную открытость* сознания для иного. Однако на этом пути они столкнулись со значительными трудностями.

Задачи данного исследования – 1) прояснить основания, по которым понятие «восприимчивость» исключалось из трансцендентально-феноменологических теорий сознания, а затем вновь принималось ими (ч. I); 2) показать, что это понятие, будучи переосмыслено с учетом трудностей предшествующих теорий, оказывается необходимым для философии сознания (ч. II).

Часть I. Трудности рассмотрения содержаний нашего сознания – восприятий – самих по себе, безотносительно к восприимчивости и какому-либо иному способу их происхождения, выявляются уже в работах Д. Юма. «...Все мои надежды рассеиваются, когда я дохожу до объяснения принципов, связывающих наши последовательные восприятия в представлении (thought) или в сознании. Я не могу найти теорию, которая удовлетворила бы меня в данном отношении» [Юм 1996: 325-326].

Первичные восприятия – впечатления – оказываются отдельными, не зависящими друг от друга существованиями и, кроме того, мгновенно сменяются другими впечатлениями, образуя поток, в котором нет ничего постоянного. Функцию связывания исходно раздельных простых восприятий выполняет воображение: единство образуют те восприятия, переход между которыми является для воображения легким, нечувствительным. Однако чтобы связать вместе исходно раздельные простые перцепции, нашему уму необходимо охватить их, но как это осуществить, если в момент, когда должен происходить этот охват, данных перцепций уже не будет, они сменяются новыми? На этот вопрос нельзя ответить ссылкой на наличие памяти, так как сами образы памяти мгновенны, существуют лишь в потоке, и проблема их связывания не менее трудна.

Любая созданная воображением связь фиктивна. Более того это Юм признает в Приложении к «Трактату»), она не устойчива. Как идея она есть лишь отдельное восприятие среди других отдельных друг от друга восприятий, и поэтому ничто следующее за этой идеей в потоке, ничто предыдущее и ничто сосуществующее не может ни каким-либо образом повлиять на нее, ни обеспечить ей сохранение.

Выявленная Юмом трудность объяснения представленности устойчивых связей в потоке сознания, рассмотренном отдельно, вне контакта с иным, заставляет обратиться к вопросу о том, может ли сознание существовать само по себе, не следует ли искать основание устойчивости сознательных образований в отношении сознания к тому, что существует независимо от него. Именно такое разрешение трудности Юма предлагает Кант. Удастся ли ему на этой основе выработать подход к объяснению организации опыта?

Своим «Опровержением идеализма» Кант показывает, что наличие внутреннего опыта было бы невозможно без отношения к некоторому внешнему *постоянству*, которое само не является только моим представлением. «...Определение моего существования во времени возможно только благодаря существованию действительных вещей, которые я воспринимаю [как находящиеся] вне меня» [Кант 1994: 221].

Кант утверждает, что сознаваемые нами явления обусловлены тем неизвестным, которое нам является, то есть вещами самими по себе. Однако

обуславливающая роль вещей самих по себе сводится к тому, что невозможно явление без являющегося. Мы можем лишь мыслить существование вещей самих по себе, но не можем созерцать их. Сознаемые нами *содержания* явлений и их исходные связи определяются не ноуменами, а *характером и связями данных созерцания*.

Кант пишет о том, что *непосредственное* отношение к предметам познание получает благодаря *созерцанию* [Кант 1994: 62], которое у человека имеет *чувственный* характер. Предметы даются нам посредством чувственности [Кант 1994: 59]. Что представляют собой эти «данные» чувственного созерцания? Кант исходит из того, что они *многообразны* и являют собой результат *восприимчивости* субъекта. Можно ли утверждать, что многообразные данные связаны, определенным образом оформлены и выступают в качестве образований, в которых можно выделить составляющие, находящиеся в тех или иных отношениях друг к другу и к целому? По Канту, это не так. Если многообразные *содержания* представлений есть результат *восприимчивости*, то *формы* их заключаются в самой нашей *способности представления* [Кант 1994: 125].

Почему Кант отделяет многообразные содержания опыта от их связей, утверждая, что содержания и формы опыта появляются в сознании различными путями, посредством различных познавательных способностей? Именно связи опыта, а не его элементы определяют наше знание о вещах, и если бы формы, которыми диктуется связь опыта, сами происходили из опыта, то наши суждения не имели бы строгой всеобщности и необходимости [Кант 1994: 42].

Даже если бы наша восприимчивость давала нам некоторые связи представлений, они не могли бы быть признаны знанием, поскольку не было бы никакой гарантии того, что эти связи сообразуются со связями, присущими самим воспринимаемым вещам.

Соответствие нашего знания о связях предметов реальным их связям, по Канту, возможно лишь в том случае, если данность предметов определяется нашей способностью связывать представления. «...Опыт сам есть вид познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, а priori; эти правила должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми ... все предметы опыта должны необходимо сообразоваться и согласовываться» [Кант 1994: 24].

Заметим, что, по Канту, способность воображения исходно имеет дело с *многообразным содержанием, лишенным связей*, следовательно, это многообразное некоторым образом *дано* субъекту еще до синтеза. Синтез, осуществляемый трансцендентальным воображением, был бы невозможен, если бы не было того, *что* подлежит синтезу. Мы не осознаем данность многообразного в ее чистом виде – такой, какова она есть вне форм чувственности, – но это не значит, что эта данность вовсе не существует, что нет того, на что направлено трансцендентальное воображение. Иначе невозможно было бы объяснить *многообразие* явлений, синтезируемых на основе *одних и тех же* априорных понятий.

Неоформленное чувственное многообразие можно мыслить как данность особого рода: ее нельзя «наблюдать», но вовсе не потому, что она отсутствует для нас, а потому, что наблюдение предполагает выявление свойств и отношений, то есть оформление.

Поскольку чувственные данные как результат восприятия не связаны, постоянство воспринимаемых нами вещей самих по себе вовсе не гарантирует устойчивости опыта. Устойчивость и упорядоченность сознательного опыта достигаются за счет всеобщих и необходимых априорных связей. Однако это означает, что устойчивые связи будут иметь *формальный* характер.

В рамках априорных *форм* продуктивное *воображение* как самодеятельная способность создает разнообразные *содержательные* связи, определяющие отличительные особенности предметов.

Как возможны устойчивые содержательные связи? По Канту, внешнее постоянство есть условие возможности опыта, протекающего во времени, оно создает фон для временных изменений. Допустим, что чувственные данные, полученные благодаря восприимчивости к неизменным вещам, сами обладают известным постоянством. Означает ли это, что создаваемые воображением связи этих данных также будут устойчивы? Что может ограничить излишнюю гибкость воображения, позволяющую ему создавать самые различные вариации связей одних и тех же чувственных данных при образовании из них конкретных предметов?

Но даже если бы воображение создавало стабильные связи, это не решило бы проблемы *познания* мира. Присущий нам способ связывания многообразия Кант считает субъективным, определяемым спонтанностью, а не восприимчивостью. Связи многообразного содержания оказываются никоим образом не зависящими от *чувственных данных*, но всецело определяемыми приемами их представления и способностью воображения. Однако такое понимание связей возвращает к проблеме Юма: отсутствие реальных связей многообразного означает, что все созданные воображением не формальные, но *содержательные* связи суть *фикции*.

Поскольку наличие воспринимаемых внешних устойчивых вещей оказывается недостаточным условием существования постоянных содержаний и все равно требуется обнаружить основание стабильности *в самом восприятии*, то полагание иного и восприимчивости к нему представляются вовсе *не обязательными*. В «Кризисе» Э. Гуссерль пишет: «...После Юма (а в отношении природы уже после Беркли) всем стало ясно, что “мир” со всем его содержанием, в котором он когда-либо и как-либо бывает значим для меня, есть значимость, возникающая в субъективности, и притом (если это говорю я, философствующий) – в моей *субъективности*» [Гуссерль 2004: 136].

Согласно Гуссерлю, подлинная трансцендентально-феноменологическая теория познания вместо «бессмысленных заключений от некоторой подразумеваемой имманентности к некоторой подразумеваемой трансцендентности», трансцендентности каких-то якобы принципиально непознаваемых «вещей в себе», должна заниматься систематическим прояснением познавательной деятельности, всецело понятой как *интенциональная* деятельность. «Любой вид самого сущего, реального и идеального, становится

понятным как *формообразование*, конституированное именно в этой деятельности трансцендентальной субъективности. Этот вид понимания есть высшая мыслимая форма рациональности» [Гуссерль 2010: 111].

Восприятие вещи, по Гуссерлю, не складывается из ощущений или каких-либо иных предварительно данных элементов. Не существует сознания потока элементов, которое предшествовало бы сознанию синтезированной из них вещи как устойчивой целостности. Гуссерль отмечает, что мы верим в мир, вещи которого только являются нам различным образом, но есть те же самые вещи. «Если я сделаю темой описания, например, восприятие этой игральной кости, то в чистой рефлексии я вижу, что эта кость непрерывно дана в качестве предметного единства в некотором полиморфном изменчивом многообразии определенным образом связанных способов явления. Последние в процессе их протекания не являются бессвязной последовательностью переживаний. Напротив, они протекают в единстве синтеза, в соответствии с которым одно и то же осознается в них как являющееся» [Гуссерль 2010: 57].

Устойчивое существование опирается не на фактические переживания, а на определенные *потенциальные* очевидности [Гуссерль 2010: 81]. Возможность интерпретировать содержание текущего перцептуального опыта, несмотря на его существенную незавершенность, определяется тем, что он включает в себя латентные или неактивные значения, являющиеся результатом *пассивного* синтеза.

Синтетическая активность не может состоять в наложении формальных структур на бесформенную материю. Такой материал не был бы пригоден для какого-либо рода синтетических операций, и сознание было бы не способно обратить их в артикулированные конфигурации. Если бы гилетические данные представляли собой изолированные и неделимые элементы, то синтез не мог бы приобрести характера необходимости. Поэтому Гуссерль не признает существование чувственной данности не только на уровне активного синтеза, но и на уровне пассивности. При исследовании сферы пассивного он нацелен на раскрытие различных *видов* пассивного синтеза, а не на нахождение его *конечных составляющих*.

Переходя в своем анализе проблем синтеза на уровень пассивности, Гуссерль надеется показать, что смысловые целостности, направляющие активный синтез, с одной стороны, возникают в сфере сознания безотносительно к иному (пассивный синтез доступен для рефлексии, он осуществляется эго), а с другой – имеют неявный характер, представляют собой «несознательное в сознании» (эго не замечает своей синтезирующей роли). «По сути, первичная пассивность есть тип активности, обладающий меньшей энергией. ... Субъект вовсе не может иметь опыт, без того чтобы принимать участие в его представлении» [Viceaga 2010: xix].

Каков источник множества разнообразных связей, предпосланных всякой активности эго? Каждое «теперь», включающее первичное впечатление с его горизонтами (ретенциями и протенциями), связано с «параллельным настоящим», то есть с другими впечатлениями и их горизонтами. Именно такие связи определяют существование конкретного единства «живого на-

стоящего». По признанию Гуссерля, параллельные серии ретенциальных модификаций, принадлежащих различным первичным впечатлениям, не могут быть связаны друг с другом благодаря форме временности. Следует предложить иную модель возникновения связей, определяющих целостность «живого настоящего».

Гуссерль прибегает к *ассоциативной* модели, стремясь представить ее в феноменологическом ключе и учесть высвеченные им трудности ассоциативных моделей Юма и Ф. Brentano. В отличие от Brentano Гуссерль не сводит темпоральный синтез к ассоциации и рассматривает его как отдельный вид синтеза, оказывающий влияние на ассоциативный синтез [Husserl 2001: 119]. Но при этом он отмечает, что темпоральный синтез не может быть понят без объяснения *ассоциации одновременности* [Husserl 2001: 170].

Ассоциации у Гуссерля совершаются по принципу *сходства* и *контраста* и относятся к сфере пассивности, поскольку не зависят от категориальных форм. Однако для установления устойчивой связи содержаний друг с другом недостаточно выполнения называемых Гуссерлем условий – сходства (контраста) и формального порядка их расположения в визуальном поле. Именно поэтому Гуссерль вводит еще одно условие упорядоченности – высшее в иерархии условий. Таким условием оказывается чувство непрерывности, обеспеченное сознанием потенциальной возможности *живого тела* совершать *движения* [Viseaga 2010: 27].

Необходимые для приобретения сознательного опыта ощущения телесных движений, как актуальных, так и потенциальных, – *кинестезы* – играют важнейшую роль в упорядочении опыта. «Явления образуют зависимые системы. Только в качестве зависящих от кинестез они могут непрерывно переходить из одного в другое и конституировать единство смысла» [Husserl 2001: 51].

Но вместе с тем Гуссерль признает, что «серии чувствований (*sensation*) должны прибывать определенным образом упорядоченно, для того чтобы опыт схватывания вещей мог состояться в соответствии с кинестетически вызываемыми предварительными требованиями и могло поддерживаться сознание существующих вещей. Если бы чувственные данные вдруг стали бы появляться в беспорядке, если бы наше визуальное поле внезапно наполнилось бы беспорядочной путаницей цветов, кинестетические мотивации утратили бы свою силу» [Husserl 2001: 152].

В конце концов, получается, что *упорядоченность первичных ассоциаций (например, визуального поля) требует упорядоченности кинестез и наоборот*. При этом уже первичные содержания сознания всегда взаимно упорядочены. «Сознание, которое было бы совсем лишено организации, совершенно непостижимо» [Husserl 2001: 268]. Начать с того, что «...каждое чувственное поле представляет собой гармоничное, космическое единство» [Husserl 2001: 517].

Не означает ли это, что *связи первичных содержаний не возникают в результате пассивного синтеза, а предшествуют ему и направляют его*? Если это так, то связи, на базе которых осуществляется дальнейшее конституирование, должны иметь место в сознании благодаря *восприимчивости субъективности*

к иному. Новизна в сознании – это не только новизна гилетических данных (статус последних, надо заметить, не является четко определенным; по замечанию Сартра, они есть «гибридное бытие, которое сознание отвергает и которое нельзя сделать частью мира» [Сартр 2004: 33]), но и новизна *смысловых целостностей, возникающая в сознании благодаря восприимчивости*.

Недостаточная определенность значения понятия гилетических данных отражает неуверенность Гуссерля в принятой им установке на смысловую абсолютизацию сознания. Критика «мифа о данных», в котором эти данные имеют неоформленный характер и как таковые не несут никакого смысла, вполне оправданна. Однако она бьет мимо цели, поскольку в чистом виде этот миф едва ли можно найти в какой-либо философской системе. Например, чувственные данные у Канта все же несут смысловую нагрузку, поскольку он надеется связать с ними *постоянство* фона, на котором происходят временные изменения. Э. Уоткинс считает, что эти данные играют у Канта роль внешних ограничителей применения тех или иных понятий и суждений. От того, какого рода данные имеются «на входе», зависит, какими именно будут объединяющие их функции и какие понятия и суждения будут иметь место «на выходе» [Watkins 2008: 521-523]. Однако, как было показано, априорный характер и ограниченный набор функций единства делают невозможным объяснение на этой основе разнообразия воспринимаемых предметных связей явлений.

Гилетические данные у Гуссерля поначалу не имеют смыслового характера, но постепенно философ приходит к выводу о том, что именно они создают условия для упорядоченности кинестез и, таким образом, не позволяют пассивной сфере превратиться в хаос.

Не случайно, что в процессе своего развития феноменология отказывается от идеи чистой эгологии. Так, «гуссерлевская концепция потенциальных горизонтов сознания и открытости опыта превратилась у Хайдеггера в концепцию первичности понимания по отношению к сознанию, в концепцию встроенности сознания в первичные линии понимания, тождественные первичным ориентациям живущего-в-мире *Dasein*» [Молчанов 1992: 12]. Мерло-Понти утверждает, что познаваемый мир не есть результат синтеза. Мир всегда предпослан любому исследованию, его нельзя исчерпать до дна, показав, каким образом он был конституирован [Landes 2015: 340-341].

Может показаться неизбежным утверждение, что первичное конституирование (пассивный синтез) осуществляется на основе *воспринятых* содержаний. Однако восприимчивость не находит у феноменологов признания в качестве необходимого базиса познания. Альтернативой утверждению Гуссерля, что вещи мира с их неизвестными и лишь постепенно открываемыми во времени горизонтами образуются в результате *пассивного синтеза*, выступает тезис об *изначальной открытости* бытия как основе всякого познания (Хайдеггер, Сартр, Мерло-Понти).

Восприимчивость отрицается на том основании, что результатом ее являются несвязанные чувственные данные, никак не соотносимые с понятиями, посредством которых мы мыслим предметы и их взаимосвязи. Критика полагания чувственной данности является общим местом в фе-

номенологии. Утверждается, что связи содержатся уже в самом первичном сознании мира; нет «сырых», бессвязных чувственных данных, должны существовать не синтезированные, а изначальные смысловые целостности. Так, например, Мерло-Понти пишет: «Чтобы ребенок смог увидеть синее и красное в рамках категории цвета, она должна корениться в данных, иначе никакое подведение под категорию не сможет узнать ее в них» [Мерло-Понти 1999: 204].

Заметим, что связь идеи о восприимчивости с критерием несвязанных чувственных данных в качестве основы сознательного опыта является скорее исторически сложившейся, нежели смысловой. Признание необходимости восприимчивости возможно и без возвращения к «мифу о данных». Модель восприятия не должна непременно включать, с одной стороны, несвязанные чувственные данные, а с другой – подчиняющие их себе чуждые априорные формы.

Но даже если допустить, что результаты восприимчивости являются целостными, проблема познания «самих вещей» остается нерешенной, поскольку ничто не может гарантировать *соответствия* субъективных связей нашего восприятия реальным связям воспринимаемых вещей. Это соображение служит основанием для признания *открытости бытия*, обеспечивающей возможность его познания. Так, согласно Хайдеггеру, *присутствие есть бытие-в-мире* [Хайдеггер 1997: 88]. Всякому познанию предшествует изначальное понимание бытия, вот-бытие всегда уже освоилось в мире. Мерло-Понти полагает, что сознание не охватывает мир, но непрерывно к нему направляется. Опыт – это «сообщение конечного субъекта с непрозрачным бытием, из которого он возникает и в которое он остается вовлеченным» [Мерло-Понти 1999: 282]. «Сообщение» с бытием означает открытость *смысла* бытия. То, что мы в мире, означает, что «мы *приговорены к смыслу*» [Мерло-Понти 1999: 20].

Мерло-Понти подчеркивает, что «реальное надлежит не конструировать или конституировать, но описывать» [Мерло-Понти 1999: 9]. Так, например, «когда я понимаю какую-то вещь, например картину, я не осуществляю активно ее синтез, я выхожу к ней навстречу со своими сенсорными полями, перцептивным полем и, в конечном итоге, типичой всякого возможного бытия, всеобщей установкой по отношению к миру. В пустотах субъекта самого по себе мы обнаруживали присутствие мира, так что субъект должен был уже пониматься не как синтетическая активность, но как экстаз» [Мерло-Понти 1999: 542].

Утверждение исходной открытости бытия является откликом на гуссерлевский призыв «к самим вещам», который заключает в себе следующую опасность. Если предположить, что в «изначально дающем созерцании» (термин Гуссерля) мы имеем непосредственный контакт с реальностью, а все трудности и заблуждения суть следствие теоретических построений, то такое понимание приведет к переворачиванию смысла процесса познания. Функция познавательной способности субъекта окажется состоящей не в том, чтобы осуществлять переход от незнания к знанию реальности, а в том, чтобы исказить данные первичного «контакта» с ней. В таком случае

правильнее будет вести речь не о «субъекте познания», а о «субъекте заблуждения». Действительно, познанное субъектом будет пониматься как «лишь субъективное», станет синонимом *нереального*, и потребуются поиски ответа на вопрос о том, как выйти из «темницы» субъективности. Опора на собственные познавательные способности будет сознаваться как неизбежное препятствие познанию, и познающий будет стремиться устранить из процесса познания *самого себя*. Он будет вести парадоксальную борьбу за уничтожение «субъективности», вместо того чтобы осмысливать ее в качестве *инструмента познания*.

Эту трудность обычно обходят ссылкой на то, что открытость мира не означает *полноты* знания о нем. Но тогда что означает «открытость»? Насколько открыт мир для нас? И можно ли говорить о степени «открытости» или существуют только две возможности – мир либо открыт, либо нет?

Можно ответить, что, несмотря на открытость мира, первичное его восприятие является смутным или незавершенным. Например, Мерло-Понти пишет: «Во всякий миг мое перцептивное поле наполнено отражениями, потрескиваниями, мимолетными тактильными ощущениями, которые мне не под силу в точности привязать к контексту восприятия и которые тем не менее я сразу же помещаю в мир, никоим образом не смешивая их с моими мечтаниями» [Мерло-Понти 1999: 9]. Он делает акцент на гуссерлевском понятии действующей интенциональности, которая «создает природное и допредикативное единство мира и нашей жизни, обнаруживает себя в наших желаниях, оценках, пейзаже более явственно, чем в объективном мышлении, и предоставляет тот текст, переводом которого на точный язык стремятся быть наши знания» [Мерло-Понти 1999: 18]. Вещи мира «вибрируют», «привлекают взгляд» [Мерло-Понти 1999: 204].

Однако при полагании изначального «соприкосновения» с самими вещами в понимании субъективности остается существенный пробел: *те стороны нашей познавательной способности, благодаря которым осуществляется выход в мир, к самим вещам, ускользают из фокуса теорий познания*. В самом деле, если имеет место исходная открытость реальности, то уже нет смысла выяснять, каким образом посредством познавательной способности *создается* совпадение субъективного и реального. Учение о познании вынуждено фокусироваться на выяснении того, каким образом человеческая познавательная способность *разрушает* исходно установленный прямой контакт с бытием (в терминологии Хайдеггера, «подручное» становится лишь «наличным»). Указание на препятствие, «закрывающее» от нас реальность, требуется для ответа на вопрос о возможности заблуждений. Кроме того, оно избавляет от опасного, кажущегося фатальным, ведущим к агностицизму, вопроса: а возможна ли вообще непосредственная открытость бытия? Впрочем, как показало развитие данной традиции, опасность грозит теории познания с противоположной стороны: к агностицизму (признанию субъективного «*лишь субъективным*») ведет не отрицательное, а слишком легкое положительное решение этого вопроса.

Подведем итоги проведенного анализа. Уже первичное сознание содержит не только элементарные содержания, но и их связи, причем эти

связи не являются априорными формами, внешним образом подчиняющими себе несвязанные чувственные данные. Эти связи имеют *не формальный, а содержательный характер* и определяют собой *синтез конкретных предметных единств*, хотя мы не осознаем наличие этих связей до синтеза.

Существование отношения субъективности к иному, проявляющееся в наличии упорядоченности уже на уровне первичного сознания, не означает *непосредственной и изначальной открытости иного*. «Исходные данные», на основе которых формируются содержания сознания, представляют собой такой же *продукт субъективности*, как и оформленные содержания сознания (здесь следует согласиться с размышлениями позднего Гуссерля), однако эти данные следует признать результатом восприимчивости, а не синтетической активности.

Часть II. Поскольку признается возможность отношения сознания к иному, возникает вопрос о способе *установления* этого отношения. Прежде всего, предстоит осмыслить *субъективность* как условие его возможности. При этом необходимо понять, каким образом восприимчивость и производительность субъективности вместе определяют содержание и структуру сознания.

Если структурирование предметной области есть *познание*, а не построение *фикций*, то на результат синтеза оказывает влияние исходно данная «материя» явлений. Воображение, осуществляющее синтез, связывает элементы не произвольным образом: сам характер элементов некоторым образом направляет работу воображения. Многообразные элементы могут нацеливать воображение на создание той или иной, определенной, связи только в случае, если они имеют реальные связи, которые воображение может в соответствующей степени воспроизвести.

Необходимо уже в первичных данных сознания найти такие основания предметных связей, которые не сводились бы только к форме, общей для всех сознательных переживаний, но позволяли бы объяснить, почему одни переживания представляются образующими некоторое конкретное единство (например, единство частей одного и того же предмета), а другие не включаются в это единство. Следует объяснить *исходное разнообразие устойчивых содержательных связей элементов сознания, составляющее основу разнообразия познаваемых предметов*. Эти связи могут быть исходно не явны, но это не означает, что их нет.

Разнообразие исходных элементов сознания и их связей может быть объяснено только тем, что они результат познания мира разнообразных вещей. Кант полагал несвязность многообразного, поскольку разделял традиционное представление о том, что воспринимаем мы при помощи чувств, которые могут дать нам лишь несвязанные ощущения. Однако следует переосмыслить понимание восприимчивости.

Элементы первичного сознания должны быть связаны уже потому, что они суть результаты применения *одной и той же познавательной способности субъекта*, а именно восприимчивости. Связь, определяемая единообразием восприимчивости как познавательной способности, есть общая связь

элементов. Но это не единственная их связь. Так же как традиционно признаваемый субъективный характер *элементов* опыта – чувственных данных – не мешает их разнообразию, субъективный характер *связей* опыта не мешает им быть отличными друг от друга и иметь конкретное содержание. Разумеется, относительно элементов и связей первичного сознания нельзя утверждать, что они *сообразуются* с какими-либо вещами, существующими независимо от субъекта, однако можно быть уверенным, что они *соответствуют* этим вещам, то есть возникают в результате восприятия именно этих вещей. Отсюда наблюдаемое *разнообразие* устойчивых содержаний сознания, причем разнообразны и элементы, и их связи.

Таким образом, благодаря восприимчивости уже первичные содержания сознания представляют собой целостности. Но чем объясняется тот факт, что определяющие их связи остаются неявными, неосознанными?

Для ответа на этот вопрос необходимо заметить, что для возникновения сознательного опыта одной только восприимчивости недостаточно, так как воспринятое не будет *сознательным* при отсутствии *восприятия субъектом самого себя как познающего*. На это условие возможности сознания обратил внимание еще Дж. Локк. Кант также считал, что только благодаря *самосозерцанию* возможно представление «я мыслю», которое должно сопровождать все мои представления, тем самым определяя их существование в качестве *моих* представлений.

Однако проблема заключается в том, что *сам познающий субъект не может стать для себя объектом восприятия*. Кант заметил, что «*это затруднение испытывает всякая теория*» [Кант 1994: 85], и принял самосозерцание как данность, отказавшись от выяснения условий его возможности.

Попытаемся наметить решение этой проблемы. Если бы познающий не был дан себе в качестве объекта, сознание было бы невозможно. Для того чтобы субъект познания мог обрести хотя бы «минимальное» сознание – мог сознавать нечто как непознанное, но являющееся *предметом познания*, необходимо, чтобы субъекту познания в какой-либо форме был дан *познающий*. В качестве *условия* существования сферы *сознательного* опыта познающий как предмет не может быть результатом работы *сознания*, а должен быть отнесен к сфере *досознательного*.

Далее, искомое досознательное основание самосознания не может быть отношением субъекта познания *к самому себе* как объекту познания, данностью познающего самому себе, поскольку всякая данность есть данность познаваемого, а не познающего. Вместе с тем досознательное основание самосознания не должно быть формальным, для него необходимо обладать содержанием, которое станет основой для развитых форм сознательного познания себя как индивидуальности.

Поскольку познающий не может быть исходно дан самому себе в качестве объекта, самопознание включает в себя познавательную деятельность, в процессе которой познающий *обретает* объект самопознания. Объектом, представляющим субъекту познающего, не может быть сам субъект, следовательно, что-то иное должно представлять для субъекта его самого. Это

иное не может быть воспринято, а должно быть продуктом *самодетельности* субъекта. Первичная самообъективация может состоять только в *создании* при помощи трансцендентального воображения «наброска» субъективности, который будет служить для субъекта предметом самопознания, не будучи тождественным самому субъекту. Только *набросок субъективности*, но не она сама может являться объектом самосозерцания.

Набросок оказывается для субъекта, с одной стороны, им самим как познающим, а с другой – инструментом, который он использует для познания мира. Воспринимая нечто посредством наброшенной познавательной способности, субъект познания воспринимает таким же образом саму наброшенную познавательную способность. Это сочетание *восприятия вещей с восприятием самого воспринимающего*, полученное благодаря наброшенной познавательной способности, определяет собой *сознательный* характер каждого из этих восприятий.

Исходя из того, каким образом субъективность выходит на уровень сознания, мы можем определить основания и характер первичных его содержаний.

Связи восприятия, полученного при помощи наброска, определяются свойствами наброска, но последний на уровне сознания предстает не таким, каков он есть, а таким, как он воспринят посредством него самого в качестве познавательного инструмента. Следовательно, указанные связи не могут быть осознаны как таковые. Исходно на уровне сознания появляется лишь несвязанное многообразие элементов. Но связи многообразия даны субъекту на досознательном уровне, поскольку определяющий их набросок есть досознательная данность.

Итак, первичное сознание *являет* собой лишь *элементы* восприятия, полученного посредством наброска, *связи* же этих элементов остаются *неявными*. Они сознаются, но сознаются как *непознанные*.

Сознание первого уровня содержит имплицитную досознательную данность «самого себя» (то есть наброска), поскольку каждый сознаваемый предмет конституируется благодаря наброшенной субъективности. Именно набросок субъективности определяет взаимосвязь всех сознаваемых предметов (исходно не осознаваемую), их принадлежность одному и тому же сознанию.

Следующий вопрос, на который необходимо ответить, – это вопрос о принципиальной возможности достижения *соответствия между тем, что существует независимо от субъекта, и тем, что дано субъекту*.

Как было показано, отношение сознания к иному не следует понимать как изначальную «данность» субъекту самих вещей, будь то в смутном или ясном виде. Но не будет ли верным утверждение, что *на досознательном уровне* субъекту дана собственная связь вещей?

Допуская такую данность, мы полагаем, что субъект исходно обладает на досознательном уровне не чем иным, как самой реальностью. Но таким образом мы уклоняемся от самого важного вопроса теории познания: как возможно совпадение субъективного мира и мира, существующего независимо от субъекта? Чтобы сохранить этот вопрос в силе, необходимо избегать

произвольных предположений о характере досознательной данности. На этом этапе познания мы не можем составить адекватное представление о том, что является собой исходная субъективность, а следовательно, не можем говорить о том, каким образом возможны досознательные результаты познания и что они собой представляют.

Когда познание выходит на сознательный уровень, досознательным результатам познания внесубъективного мира, полученным посредством собственной (неосознаваемой) познавательной способности субъекта, оказываются сопоставленными иные результаты познания этого же мира, приобретенные благодаря наброшенной познавательной способности.

Досознательные результаты познания, определяемые самим субъектом, и сознательные результаты, определяемые наброском, различны, но вместе с тем они суть результаты познания *одних и тех же вещей* (будем называть такие результаты познания *соответственными*), поэтому субъект пытается привести их к гармонии, к единству при помощи *вторичного воображения*, присущего наброшенной познавательной способности.

При возникновении сознания неизбежно возникает дисгармония (диссонанс) сознательного и досознательного, поскольку набросок субъективности, свойствами которого определяется сознание, отличен от первичной субъективности, определяющей собой досознательное. На устранение диссонанса (как между сознательным и досознательным, так и в сфере сознания) направлено все сознательное творчество. Если диссонанс возникает на уровне сознания, иначе говоря, вступающие в конфликт восприятия имеют сознательный характер, то суть их «конфликта» видна изначально. Такого рода диссонанс называется *противоречием*. Нетерпимость субъекта познания к противоречиям хорошо известна. Нетерпимость его к диссонансу сознательного и досознательного столь же сильна, но выражается она в *чувстве неудовольствия*, испытываемом по отношению к содержаниям сознания, которые конфликтуют с чем-то неизвестным, несознаваемым, но тем не менее присутствующим в сфере субъективного.

Однако что дает нам право говорить о процессе достижения *единства* различных субъективных результатов (одни из них получены при помощи собственной познавательной способности субъекта, а другие – посредством наброшенной) как о процессе *познания* не зависящей от субъекта реальности и самого субъекта? Разве сознание субъектом мира и самого себя не является *принципиально отличным от несубъективной реальности*, поскольку с необходимостью несет на себе субъективные черты, определяемые наброшенной субъективностью?

Чтобы ответить на эти вопросы, *допустим, что при помощи воображения, преобразующего данные сознания и таким образом устраняющего дисгармонию сознательного и досознательного, указанное единство достигнуто*. В этом случае субъект познания имеет набросок субъективности, который позволяет ему получить сознательные результаты познания, неотличимые от тех, которое дает его собственная познавательная способность. Поскольку субъект познания достиг единства результатов, осознание наброска идентично досознательной данности наброска. Но набросок субъективности

есть продукт воображения, а не вещь вне субъекта, поэтому досознательная данность наброска совпадает с *ним самим*. Следовательно, в этом случае осознанный набросок идентичен наброску как он есть. Иными словами, субъект познания имеет *знание* наброска таким, какой он есть; а поскольку это знание возможно только при единстве сознательных и досознательных результатов познания, оно равносильно *знанию о действительном субъекте познания*.

Указанный способ познания субъектом самого себя является способом *познания* в полном смысле этого слова, поскольку не предполагает никаких предваряющих познание данных о субъективности, не предписывает ей никаких априорных форм, которые, как известно, выступают непреодолимым барьером на пути выхода к самим вещам. Познать *познающего как он есть* означает познать одну «из вещей самих по себе», сделать принципиальной важности шаг в познании мира таким, каков он есть. Если верно предположение о том, что этот мир есть единое целое, то познание только одной его составляющей означало бы *выход к вещам как таковым во всем их многообразии*.

Очевидно, что достижение единства сознательного и досознательно-го зависит от свойств брошенной познавательной способности. Поэтому процесс познания предполагает создание при помощи трансцендентально-го воображения на досознательном уровне, «в темноте», все новых и новых набросков, каждый из которых определяет собой индивидуальное сознание, работающее на преодоление диссонанса.

Разумеется, речь, скорее, должна идти о большей или меньшей степени приближения к ситуации устранения диссонанса, чем о полной его «ликвидации». Созданный вслепую набросок отличен от самого субъекта; сознательные результаты познания изначально не совпадают с досознательными, и вторичному воображению наброска, которое может быть очень слабым или вовсе отсутствовать, непросто установить их единство. Приведение сознательного и досознательного к неразличимости или к единству – это требующий специального исследования сложный процесс, результат которого не предсказуем [Рябушкина 2014: 276-335].

Итак, сознательное познание мира и самого себя как познающего во многом определяется имплицитным влиянием досознательного познания. Восприимчивость не может быть исключена из теории познания и философии сознания, поскольку представляет собой одно из условий возможности сознательного опыта. Кроме того, она играет важную роль в упорядочении содержаний сознания, определяя собой конкретные предметные связи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гуссерль Э. 2004. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб. : Владимир Даль. 400 с.
Гуссерль Э. 2010. Картезианские медитации. М. : Акад. проект. 229 с.
Кант И. 1994. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения : в 8 т. М. : Чоро. Т. 3. С. 5-678.
Мерло-Понти М. 1999. Феноменология восприятия. СПб. : Наука. 606 с.

- Молчанов В.И. 1992. Парадигмы сознания и структура опыта // Логос. № 3. С. 7-36.
- Рябушкина Т.М. 2014. Познание и рефлексия. М. : Канон+. 352 с.
- Сартр Ж.-П. 2004. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М. : Республика. 639 с.
- Хайдеггер М. 1997. Бытие и время. М. : Ad Marginem. 452 с.
- Юм Д. 1996. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль. Т. 1. С. 53-656.
- Biceaga V. 2010. The Concept of Passivity in Husserl's Phenomenology. London ; New York : Springer. 220 p.
- Husserl E. 2001. Analyses concerning passive and active synthesis: lectures on transcendental logic. Dordrecht : Kluwer Academic. 720 p.
- Landes D.A. 2015. Between Sensibility and Understanding: Kant and Merleau-Ponty and the Critique of Reason // J. of Speculative Philosophy. Vol. 29, № 3. P. 335-345.
- Sellars W. 1997. Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge : Harvard Univ. Press. 192 p.
- Watkins E. 2008. Kant and the Myth of the Given // Inquiry. Vol. 51, № 5. P. 512-531.



T. Ryabushkina. Ideya vospriimchivosti k inomu v transtsendental'no-fenomenologicheskoy traditsii: ot otritsaniya k pereosmysleniyu [The idea of receptivity toward alterity in transcendental-phenomenological tradition: from negation to reconsideration], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 7-23. (in Russ.).

Tatyana M. Ryabushkina, Candidate of Philosophy, Associate Professor, National Research University Higher School of Economics, Russia, Moscow.
E-mail: ryabushkinat@yandex.ru

Article received 17.01.2017, accepted 25.02.2017, available online 01.11.2017

THE IDEA OF RECEPTIVITY TOWARD ALTERITY IN TRANSCENDENTAL-PHENOMENOLOGICAL TRADITION: FROM NEGATION TO RECONSIDERATION

Abstract. The claim that human understanding is grounded in receptivity of mind-independent reality despite its historical anteriority and accordance with intuition of ordinary consciousness becomes invalid in the process of development of phenomenological thought. The reason for denying receptivity is a lack of conformity between *separate* sense data and concepts as involving *unifying* functions. An assumption that the results of the receptivity initially have connections does not solve the problem of knowledge of “the things themselves”, because these connections are different from connections of the things.

Denying receptivity to otherness phenomenology explains the *manifold* and *originality* of contents of consciousness in two alternative ways. The first way is that the things of

the world with their horizons are formed as a result of *passive synthesis* (E. Husserl); the second way is the assertion that the condition of knowledge is original openness of being (M. Heidegger, J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty). Husserl denies the receptivity because for him phenomenology is *egology*, and subjectivity is the ultimate basis of explanation of the world. According to Husserl, the results of passive synthesis are the products of subjectivity, on the one hand, and the objects that are pre-given to egoic synthetic activity and make it possible, on the other hand.

The author shows that Husserl's *presentation of the problem* is true: it is in subjectivity that the basis of our consciousness of the world is to be found. The concepts claiming the original openness of consciousness to alterity overlook this important issue and consequently face fundamental difficulties. Concerning Husserl's *solution* to the problem, it is not acceptable. The given study proves the need for a new consideration and further rethinking the concept of receptivity in such a way that it could become a working concept of a transcendental-phenomenological theory of knowledge.

Keywords: transcendental philosophy, phenomenology, perception, subjectivity, receptivity, the myth of the given, passive synthesis.

References

Biceaga V. *The Concept of Passivity in Husserl's Phenomenology*, London, New York, Springer, 2010, 220 p.

Heidegger M. *Bytie i vremya* [Being and Time], Moscow, Ad Marginem, 1997, 452 p. (in Russ.).

Hume D. *Traktat o chelovecheskoy prirode* [Treatise of Human Nature], Yum D. *Sochineniya*, Moscow, Mysl', 1996, vol. 1, pp. 53-656. (in Russ.).

Husserl E. *Analyses concerning passive and active synthesis: lectures on transcendental logic*, Dordrecht, Kluwer Academic, 2001, 720 p.

Husserl E. *Kartezianskie meditatsii* [Cartesian Meditations], Moscow, Akad. proekt, 2010, 229 p. (in Russ.).

Husserl E. *Krizis evropeyskikh nauk i transtsendental'naya fenomenologiya* [The Crisis of European Sciences and transcendental Phenomenology], St. Petersburg, Vladimir Dal', 2004, 400 p. (in Russ.).

Kant I. *Kritika chistogo razuma* [The Critique of Pure Reason], *Kant I. Sochineniya*, Moscow, Choro, vol. 3, 1994, pp. 5-678. (in Russ.).

Landes D.A. Between Sensibility and Understanding: Kant and Merleau-Ponty and the Critique of Reason, *J. of Speculative Philosophy*, 2015, vol. 29, no. 3, pp. 335-345.

Merleau-Ponty M. *Fenomenologiya vospriyatiya* [Phenomenology of Perception], St. Petersburg, Nauka, 1999, 606 p. (in Russ.).

Molchanov V.I. *Paradigmy soznaniya i struktura opyta* [Paradigms of consciousness and the structure of experience], *Logos*, 1992, no. 3, pp. 7-36. (in Russ.).

Ryabushkina T.M. *Poznanie i refleksiya* [Knowledge and Reflection], Moscow, Kanon+, 2014, 352 p. (in Russ.).

Sartre J.-P. *Bytie i nichto: Opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothingness], Moscow, Respublika, 2004, 639 p. (in Russ.).

Sellars W. *Empiricism and the Philosophy of Mind*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1997, 192 p.

Watkins E. Kant and the Myth of the Given, *Inquiry*, 2008, vol. 51, no. 5, pp. 512-531.



Политов А.В. Сравнительный анализ понятий семантического мира В.В. Налимова и хронотопа М.М. Бахтина // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4, с. 24–32.

УДК 111.1

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.2432

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО МИРА В.В. НАЛИМОВА И ХРОНОТОПА М.М. БАХТИНА

Андрей Викторович Политов

кандидат философских наук,
старший преподаватель гуманитарного факультета
кафедры философии и права
Пермского Национального исследовательского
политехнического университета,
Россия, г. Пермь. E-mail: ulbricht2013@ya.ru

Материал поступил в редколлегию 16.11.2016 г.

Задачей статьи является сравнительное историко-философское рассмотрение понятий семантического мира, введенного в отечественную философскую науку советским мыслителем В.В. Налимовым, и хронотопа, обоснованного в трудах выдающихся российских ученых А.А. Ухтомского и М.М. Бахтина, с целью раскрытия и описания сущностного общефилософского значения данных категорий в их взаимном пересечении. На основе развернутого анализа текстов основных сочинений В.В. Налимова и М.М. Бахтина автор демонстрирует концептуальное единство и убедительное сходство понятий семантического мира и хронотопа, обусловленные имманентно присущим им онтологическим основанием. Категории семантического мира и хронотопа характеризуют ценностную и бытийную полноту человеческой жизни, акцентируют сущностный экзистенциально-этический смысл индивидуальных поступков, определяющих место и роль личности в структуре мироздания. С помощью историко-философского анализа одного из ключевых произведений раннего периода творчества М.М. Бахтина – известной работы «К философии поступка» – раскрыто и обосновано экзистенциально-метафизическое значение хронотопичности человеческого бытия, в котором пространственно-временное единство окружающего мира оказывается надделенным человеческими ценностями и смыслами. Таким образом, хронотоп мироздания предстает подлинно человеческим, семантическим миром, ареной развертывания индивидуальной жизни личности, событийного ряда ее существования. Человеческая жизнь становится имманентно включенной в хронотопное семантическое целое мирового феномена. Категории семантического мира и хронотопа манифестируют, следовательно, сущностное онтологическое и экзистенциальное значение, позволяющее им выступить в качестве фундаментального основания дальнейшего развертывания и конструирования полноценной онтологии события, которая является одним из важнейших метафизических направлений современной западноевропейской и российской философии.

Ключевые слова: хронотоп, семантический, мир, бытие, онтология, Ухтомский, Бахтин, Налимов.

Хронотоп – категория, получившая научно-философское обоснование и развитие в трудах отечественных мыслителей XX в. Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942) и Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975); именно они дали этому понятию каноническое определение пространственно-временной целокупности [Политов 2014: 50–62]. Несложно заметить, что категория хронотопа по своему содержанию и смыслу существенно близка понятию мира в целом, который также может быть определен в качестве целостного пространственно-временного единства. Однако понятия хронотопа и мира в философской теории не могут быть признаны тождественными, поскольку хронотопичность выступает лишь одним из атрибутов, присущих мирозданию в целом. Соответственно понятие «мир» шире по своему логическому и онтологическому значению, нежели понятие «хронотоп». Тем не менее данные категории находятся в существенной смысловой и структурной связи. Целью настоящей работы, продолжающей наши исследования [Политов 2015: 696–703], является прояснение онтологического значения категории хронотопа в соотношении ее с концепцией структуры мироздания, представленной в трудах известного российского ученого и философа Василия Васильевича Налимова (1910–1997), совмещавшего научную работу в области физики, математики, биологии с интересом к мистической и эзотерической философии (в частности, к течению мистического анархизма), к семиотике и культурологии. Основная философская система Налимова – вероятностная теория смыслов – впервые была изложена им в 1979 г. в работе «Вероятностная модель языка» [Налимов 1979].

Для Налимова, соединившего мистические учения с постулатами русского космизма и христианской философией, мир изначально выступает как нечто сложное, таинственное, то, что невозможно раскрыть до конца: «...наш исходный постулат: в Мире есть Тайна. Не надо пытаться ее разгадать, ибо тогда мы разрушим ее – вульгаризируем, упростим, редуцируя грандиозное к привычному» [Налимов 1993: 3]. Реальность изначально разделена на две сферы – физическую и семантическую: «...физический мир и мир семантический – это две различные реальности, непосредственно связанные через геометрию Мира» [Налимов 1989: 83]. Семантический мир есть смысловая реальность, отдельная от физического (материального) мира; для Налимова важнейшей сферой реальности остается семантический (смысловой) мир. Именно на изучении смыслов реальности и человеческой личности Налимов останавливает свое внимание. Согласно исследователю, реальность наполнена смыслами; основной единицей смысла служит текст: «...смыслы – это есть то, что делает знаковую систему текстом» [Налимов 1989: 107]. Текстом является все сущее: «Весь воспринимаемый нами эволюционирующий мир можно рассматривать как множество текстов. Когда мы говорим о биосфере, то текстами оказываются отдельные особи, виды и другие составляющие биосферы. Когда рассматриваем ноосферу, то

текстами становятся сознания людей как в их личных, так и коллективных проявлениях» [Налимов 1989: 106-107]. Смысл, согласно учению Налимова, есть главная характеристика сущего; в своем исходном состоянии смыслы существуют в потенциальном виде: «...смыслы мира спрессованы так, как спрессованы числа на действительной оси. ... Спрессованность смыслов – это не распакованный (непроявленный) Мир: семантический вакуум» [Налимов 1989: 106-107]. Реальность, кроме разделения на физический и семантический мир, характеризуется двумя состояниями: это бытие (наличный, раскрытый мир) и ничто (семантический вакуум, нераскрытый мир). Семантический вакуум ничто выступает как первоначальное, исходное состояние мира, поскольку естественное состояние смысла – пребывание в нераскрытости, спрессованности на мировой оси. Однако семантический вакуум не есть нечто принципиально непознаваемое; напротив, он выступает в качестве потенциально познаваемого, способного к раскрытию. Как указывает Золотухина-Аболина, «...если семантический вакуум (Ничто) – это чистая непроявленность, то необходимо дополнить взгляд на него представлением о Потенциальности. Потенциальность – то начало, которое порождает семантические проявления» [Золотухина-Аболина 2005: 90].

Идея, высшая функция человека, согласно Налимову, заключается в том, что индивид есть существо, которое раскрывает смыслы, и своей активностью противостоит семантическому вакууму ничто. В его понимании «личность – часть и момент универсума, причем универсума семантического, исполненного смыслов. Личность – текст, способный сам себя интерпретировать, и, будучи таковым, он соотнесен с миром – множеством текстов. Человеку предшествует и его сопровождает в качестве источника и фона всего происходящего семантический континуум. ... Смыслы мира спрессованы так же, как числа на линейной оси ... смысловой континуум, пронизывающий всю нашу жизнь, не распакован и являет собой потенциальность. Он – семантический вакуум. Человек выступает той фигурой, которая распаковывает смыслы, переводит их из потенциального состояния в актуальное» [Золотухина-Аболина 2005: 90]. По мнению Налимова, задача, стоящая перед современным ученым, заключается в том, чтобы соединить научное физическое и математическое познание мира с философским пониманием его как вероятностной и сложной реальности: «...семантика каждого конкретного текста задается своей функцией распределения (плотностью вероятности) – $p(\mu)$ Функция $p(\mu)$ оказывается тем окном, через которое нам дана возможность всматриваться в семантический мир» [Налимов 1989: 108]. В результате процесса познания, в котором, согласно концепции ученого, должны быть соединены строгость науки и мудрость эзотерической философии, «проявленный мир смыслов всегда представлен как совокупность текстов» [Золотухина-Аболина 2005: 90].

Познанием мира как вероятностной реальности не исчерпывается значение философской теории Налимова, поскольку остается нерешенной проблема самого субъекта познания – человека, противостоящего ничто семантического вакуума. Чтобы разрешить этот вопрос, Налимов в своей теории сочетает два противоположных подхода. Налимов – естествоиспытатель

и математик видит в вероятностном познании способ борьбы с семантическим вакуумом, Налимов – эзотерик и философ одновременно предлагает путь медитирования, выхода за пределы собственной самости. Василий Васильевич был известен как последовательный сторонник и практик медитации, где «возникает новое состояние сознания, при котором происходит слияние с объектом медитации, растворение в нем, потеря границы собственной личности. Возникает ощущение целостности» [Налимов 1979: 227]. Подробное раскрытие и обоснование теории и практики медитативного состояния человеческой личности содержится в автобиографии ученого под названием «Канатоходец» [Налимов 1994]. Человеку, для того чтобы противостоять ничто семантического вакуума, недостаточно познания мира как вероятностной реальности, но необходим выход за пределы себя, слияние с внешней средой. Что должно быть той внешней средой, с которой человеку необходимо обрести цельность, чтобы он мог противостоять семантическому вакууму? Конечно, этим внешним является окружающий мир. В медитативном состоянии слияния с миром, по Налимову, «индивидуальность аннигилируется, она превращается во все, или в ничто. Смыслы исчезают вследствие утраты селективности в их оценке. Семантический континуум возвращается в свое исходное – нераспакованное – состояние. Так открывается возможность трансценденции – выхода в деперсонализированное Космическое сознание, лишённое земных смыслов. Это уже мир небытийного Бытия» [Золотухина-Аболина 2005: 108].

Раскрыв и описав основные положения концепции семантического мира В.В. Налимова, рассмотрим интересующую нас далее категорию хронотопа. Обыкновенно при ее определении отсылают к известной работе М.М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» [Бахтин 2012: 340-512], в которой хронотоп предстает прежде всего в качестве эстетической категории, но, для того чтобы показать и обосновать онтологическую взаимосвязь понятий семантического мира и хронотопа, обратимся к одному из самых известных произведений Бахтина, озаглавленному комментаторами его наследия, – работе «К философии поступка» [Бахтин 2003: 7-68]; в действительности же, скорее, данное сочинение раннего периода творчества Бахтина дает развернутый очерк онтологии события, конституируемого человеческим бытием. Следует указать, что как таковой термин «хронотоп» не присутствует в тексте «К философии поступка», но все положения о пространственно-временной архитектонике бытия, вводимые и утверждаемые Бахтиным, обладают выраженным хронотопологическим смыслом. Это сочинение, по оценке самого Бахтина, содержит своеобразный вариант авторской философской антропологии [Бахтин 2003: 351], суть которой может быть выражена следующим образом. Человеческая жизнь представляет собой событийное бытие; в каждой узловой точке бытия – событии – проявляет себя человеческая личность: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок» [Бахтин 2003: 8]. В центральном положении онтологии поступка

Бахтина – человек ответственен за свои поступки – содержится не только буквальный этический смысл, но и, прежде всего, глубокое метафизическое значение. Оно выражается в том, что индивидуальная ответственность есть ответ окружающему миру, *коммуникация с бытием*. Ответственный поступок есть ответ человека бытию, зачин экзистенциальной коммуникации личности с мирозданием. Согласно философии поступка Бахтина, человеку имманентно врождена ответственность в бытии, служащая универсальной онтологической мерой становления и сущности человеческой личности: «Жизнь может быть осознана только в конкретной ответственности. ... Можно осознать жизнь только как событие, а не как бытие-данность. Отпавшая от ответственности жизнь ... принципиально случайна и неукоренена» [Бахтин 2003: 51]. Ответственность поступка не просто означает собой светскую добродетель, честность, порядочность, но прежде всего являет *открытость бытийной коммуникации, становление человеческой личности в событийности бытия*.

Важнейшее для нас положение философии Бахтина заключается в том, что ответственный поступок есть *бытийно-смысловой акт*, в котором проявляется не просто моральное долженствование, но и глубокое экзистенциальное, ценностное значение: «Мир, где действительно протекает, свершается поступок, – единый и единственный мир, конкретно переживаемый... проникнутый эмоционально-волевыми тонами утвержденной ценностной значимости. Единую единственность этого мира, не содержательно-смысловую, а эмоционально-волевою, тяжелую и нудительную, гарантирует действительности признание моей единственной причастности, моего не-алиби в нем. Эта утвержденная причастность моя создает конкретное долженствование – реализовать свою единственность как незаменимую во всем единственность бытия... а значит, превращает каждое проявление мое: чувство, желание, настроение, мысль – в активно-ответственный поступок мой» [Бахтин 2003: 51]. Каждый поступок наделен бытийным смыслом и бытийной ценностью, поскольку определяет событийную цепь человеческой жизни, ключевые узловые моменты которой несут особое жизненное значение. Мир, в котором живет человек, предстает в качестве определенного пространственно-временного целого, нагруженного человеческими, личностными, *моими собственными* смыслами и ценностями. Это есть *целостный хронотопный семантический (смысловой) мир*, в котором существует человеческая личность, в котором разворачивается событие бытия: «...мир дан мне с моего единственного места как конкретный и единственный. Для моего участного поступающего сознания – он, как архитектурное целое, расположен вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступка. ... В соотношении с моим единственным местом активного исхождения в мире все мыслимые пространственные и временные отношения приобретают ценностный центр, слагаются вокруг него в некоторое устойчивое конкретное архитектурное целое – возможное единство становится действительной единственностью» [Бахтин 2003: 51-52].

Теория семантического мира В.В. Налимова и хронотопологическое миропонимание М.М. Бахтина проявляют, таким образом, существенную и

глубокую взаимосвязь, обусловленную не только определенным сходством их концептуальных построений, но и вживленностью обоих мыслителей в русло отечественной философской органицистской традиции. Сущность данного мировосприятия можно описать фразой первого основоположника теории хронотопа А.А. Ухтомского: «Реальность – хронотоп ... мы живем в хронотопе» [Ухтомский 2002: 68-70]. Время и пространство имманентно вписаны в структуру мироздания и в структуру события. Каждый поступок совершается в определенном месте и в конкретное время; поскольку поступок есть проявление ответственности человека в бытии, ценностный бытийный акт ответственного выбора, то его жизненное значение и личностная ценность проецируются на пространственно-временное целое, в рамках которого происходит событие бытия. Отчужденные внешние пространство и время окружающего материального мира приобретают глубоко *человеческий характер*, обогащаются личностным, ценностным значением, *становятся пространственно-временной структурой семантического мира*.

Следовательно, семантический мир есть пространственно-временное целое (хронотоп), выстраивающееся вокруг своего «ценностного центра – смертного человека» [Бахтин 2003: 60] и в силу этого приобретающее ценностное значение его жизни, выступающее ареной развертывания событий, свершения поступков. Я как ответственный субъект причастен к хронотопу окружающего мира, в котором развертывается мое конечное индивидуальное бытие. Хронотоп, в котором я существую, есть моя жизнь, есть семантический мир, наполненный моими – человеческими – ценностями и смыслами: «С единственного места моей причастности бытию единые время и пространство индивидуализируются, приобщаются, как моменты ценностной конкретной единственности. С точки зрения теоретической пространство и время моей жизни – ничтожные ... отрезки единого времени и пространства ... но изнутри моей причастной жизни эти отрезки получают единый ценностный центр, что и превращает действительное время и пространство в единственную, хотя и открытую индивидуальность» [Бахтин 2003: 54-55]. Как известно, в качестве иллюстрации ценностно-смысловой нагруженности пространственно-временной организации окружающего мира Бахтин приводит анализ стихотворения А.С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней...», где показывает, как в событии ответственного жизненного выбора пространственно-временное целое, хронотоп, в котором разворачивается действие человеческого поступка, приобретает подлинно экзистенциальное, ценностно-личностное значение и смысловое выражение: «...момент ценности обусловлен не основоположением, как принципом, а единственным местом предмета в конкретной архитектонике события с единственного места причастного субъекта. ... Здесь и пространственное, и временное, и логическое, и ценностное оплотнены в их конкретном единстве ... соотнесены с конкретным ценностным центром, не систематически, а архитектурно подчинены ему, осмыслены и локализованы через него и в нем» [Бахтин 2003: 66]. Весь текст «К философии поступка» пронизан экзистенциальным пафосом раннего Бахтина: окружающий мир, в котором я живу, в котором я совершаю поступки, есть *мой* мир, мир *моей* жизни;

именно в таком свете окружающее человека пространственно-временное единство приобретает подлинно экзистенциальный, ценностно-смысловой компонент. Смыслы и ценности конкретной человеческой жизни, носящей характер *микрорхнотоп*, окрашивают, обогащают и индивидуализируют окружающий мировой *макрорхнотоп*. Так внешне отчужденное пространственно-временное целое окружающего мира приобретает значение смыслового единства, становится подлинным семантическим миром, несущим в себе смысл и ценность индивидуального человеческого бытия: «Конкретное долженствование есть архитектурное долженствование: осуществить свое единственное место в единственном событии-бытии» [Бахтин 2003: 68].

Разумеется, в своем очерке мы отметили лишь основные точки соприкосновения концепций семантического мира В.В. Налимова и хронотопа М.М. Бахтина. Сходство и близость теоретических построений данных мыслителей коренится, прежде всего, в экзистенциальной онтологической направленности их основных положений о сущности мира и места, которое занимает в нем человеческая личность. Дальнейшее сравнительное историко-философское исследование теории семантического мира и концепции хронотопа может заключаться в развертывании и конструировании полноценной *онтологии хронотопа события*. Человеческая жизнь являет себя временным потоком событийного бытия, разворачивающегося в пространстве окружающего мироздания и носящего уникальный индивидуальный ценностно-смысловой характер. Окружающее человека пространственно-временное целое предстает, таким образом, в качестве полноценного *семантического жизненного мира*, в котором становится и совершается жизнь личности; событийная цепь индивидуального существования оказывается микрорхнотопом, имманентно и органически инкорпорированным в макрорхнотоп мира. Основой для подобного онтологического осмысления и понимания хронотопичной сущности мироздания и событийности бытия могут послужить рассмотренные нами концепции В.В. Налимова и М.М. Бахтина.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бахтин М.М. 2003. Собрание сочинений. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М. : Яз. славян. культур. 957 с.
- Бахтин М.М. 2012. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М. : Яз. славян. культур. 880 с.
- Золотухина-Аболина Е.В. 2005. В. Налимов. М. ; Ростов н/Д. : MapT. 128 с.
- Налимов В.В. 1979. Вероятностная модель языка. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Наука. 304 с.
- Налимов В.В. 1989. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности. М. : Прометей. 288 с.
- Налимов В.В. 1993. В поисках иных смыслов. М. : Прогресс. 265 с.
- Налимов В.В. 1994. Канатоходец : Воспоминания. М. : Прогресс. 456 с.
- Политов А.В. 2014. Онтологический смысл понятия хронотопа в философских идеях А. Ухтомского и М. Бахтина // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 14, вып. 4. С. 50-62.

Политов А.В. 2015. Семантический мир сущего: хронотоп как категория онтологии // *Философия и культура*. № 5. С. 696-703. DOI: 10.7256/1999-2793.2015.5.11611.
Ухтомский А.А. 2002. Доминанта. СПб. : Питер. 448 с.



A. Politov. Sravnitel'nyy analiz ponyatiy semanticheskogo mira V.V. Nalimova i khronotopa M.M. Bakhtina [Comparative analysis of V.V. Nalimov's concept of semantic world and M.M. Bakhtin's concept of chronotope], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 24-32. (in Russ.).

Andrey V. Politov, Candidate of Philosophy, Senior lecturer,
Faculty of Humanities, Department of Philosophy and Law,
Perm national research Polytechnic University, Russia, Perm.
E-mail: ulbricht2013@ya.ru

Article received 16.11.2016, accepted 26.12.2016, available online 01.11.2017

COMPARATIVE ANALYSIS OF V.V. NALIMOV'S CONCEPT OF SEMANTIC WORLD AND M.M. BAKHTIN'S CONCEPT OF CHRONOTOPE

Abstract. The objective of the article is the comparative historical-philosophical consideration of the category of semantic world introduced in Russian philosophy by Soviet philosopher V.V. Nalimov, and the category of chronotope grounded in the works of prominent Russian scientists A.A. Ukhtomsky and M.M. Bakhtin. The purpose of this analysis is to uncover and describe the essential philosophical importance of these categories in their mutual intersection. Based on detailed analysis of the main works of V.V. Nalimov and M.M. Bakhtin, the article demonstrates the conceptual unity and mutual similarity of categories of semantic world and chronotope due to the immanently inherent ontological meaning. Categories of semantic world and chronotope characterize axiological and existential fullness of human life, and reveal the essential existential and ethical meaning of individual actions that define the place and role of personality in the structure of the universe. Using historical-philosophical analysis of the well-known Bakhtin's "Toward a Philosophy of the Act", which is one of the key works of his early period, the author discloses and justifies existential and metaphysical meaning of chronotope of human existence, in which spatial-temporal unity of the surrounding world is endowed with human values and meanings. Thus, the chronotope of the universe reveals itself as truly human and semantic world, and appears as the arena of the development of individual life, which in turn is revealed as the chain of existential events. Human life is inherently included in the chronotopical semantic wholeness of the surrounding world. Therefore, categories of semantic world and chronotope demonstrate the essential ontological and existential meaning, which allows them to act as the fundamental base for further development of a full-fledged ontology of event, which is one of the most important metaphysical dimensions of contemporary Western European, as well as Russian philosophy.

Keywords: chronotope, semantic world, being, ontology, Ukhtomsky, Bakhtin, Nalimov.

References

Bakhtin M.M. *Sobranie sochineniy. T. 1. Filosofskaya estetika 1920-kh godov* [Works. Vol. 1. Philosophical aesthetics of 1920s years], Moscow, Yaz. clavyan. kul'tur, 2003, 957 p. (in Russ.).

Bakhtin M.M. *Sobranie sochineniy. T. 3. Teoriya romana (1930–1961 gg.)* [Works. Vol. 3. Theory of the novel (1930-1961 years)], Moscow, Yaz. clavyan. kul'tur, 2012, 880 p. (in Russ.).

Nalimov V.V. *Kanatokhodets : Vospominaniya* [Tightrope Walker. Memories], Moscow, Progress, 1994, 456 p. (in Russ.).

Nalimov V.V. *Spontannost' soznaniya: Veroyatnostnaya teoriya smyslov i smyslovaya arkhitektonika lichnosti* [Spontaneity of consciousness: Probabilistic theory of meanings and semantic architectonics of personality], Moscow, Prometey, 1989, 288 p. (in Russ.).

Nalimov V.V. *V poiskakh inykh smyslov* [In search of other meanings], Moscow, Progress, 1993, 265 p. (in Russ.).

Nalimov V.V. *Veroyatnostnaya model' yazyka* [A probabilistic language model], 2 nd. ed., rev. and augm., Moscow, Nauka, 1979, 304 p. (in Russ.).

Politov A.V. *Ontologicheskiy smysl ponyatiya khronotopa v filosofskikh ideyakh A. Ukhtomskogo i M. Bakhtina* [The ontological meaning of the concept of the chronotope in the philosophical ideas of A. Ukhtomskiy and M. Bakhtin], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2014, vol. 14, iss. 4, pp. 50-62. (in Russ.).

Politov A.V. *Semanticheskiy mir sushchego: khronotop kak kategoriya ontologii* [Semantic world of things: the chronotope as a category of ontology], *Filosofiya i kul'tura*, 2015, no. 5, pp. 696-703. DOI: 10.7256/1999-2793.2015.5.11611. (in Russ.).

Ukhtomskiy A.A. *Dominanta* [Dominant], St. Petersburg, Piter, 2002, 448 p. (in Russ.).

Zolotukhina-Abolina E.V. *V. Nalimov* [V. Nalimov], Moscow, Rostov-on-Don, MarT, 2005, 128 p. (in Russ.).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА POLITICAL SCIENCE



Мочалов А.Н. Территория, этничность и феномен «многонациональных» государств // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4. С. 33–52.

УДК 342.1

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.3352

ТЕРРИТОРИЯ, ЭТНИЧНОСТЬ И ФЕНОМЕН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ¹

Артур Николаевич Мочалов

кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета,
Россия, г. Екатеринбург.
E-mail: artur.mochalov@usla.ru

Материал поступил в редколлегию 10.07.2017 г.

В статье рассматриваются проблемные вопросы отражения этнического фактора в организации территории государства, анализируются современные подходы к пониманию природы этничности, этнических общностей, а также их коллективной правосубъектности; исследуется связь между этническими общностями и территорией. Придерживаясь конструктивистских взглядов на этничность и понимая ее как результат индивидуального выбора каждого человека, автор тем не менее считает допустимым использование категории «этническая группа» для анализа процессов, связанных с политико-территориальным устройством государства.

В статье аргументируется тезис о том, что феномен многонационального государства, к атрибутам которого относятся этнический федерализм и национально-территориальная автономия, не есть порождение «советского» понимания «национального вопроса»; он отражает глобальные тенденции, начавшиеся с появлением

¹ Статья написана в рамках исследования, выполняемого за счет средств гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-8057.2016.6.

государств-наций. Утверждается, что логика национализма, сопровождавшего формирование европейских наций, в ряде государств была спроецирована на этнические меньшинства, которые в результате стали рассматриваться как «внутренние нации». Предоставляемая этническим регионам территориальная автономия при этом воспроизводит основные черты государства-нации в качестве его «облегченной» версии.

По мнению автора, этнический федерализм и национально-территориальные автономии возникали в тех государствах, где существовал внутренний этнонационализм и были сильны позиции региональных этнических элит. Учет этнического фактора в государственном устройстве чаще всего носит вынужденный характер и является результатом компромисса, достигнутого между этническими элитами и политическим руководством страны. В странах, правительства которых либо не сталкивались с региональным этнонационализмом, либо обладали достаточными ресурсами для его подавления (например, путем принудительной ассимиляции), выбиралась модель мононационального государства, не предполагавшая каких-либо уступок в виде территориального обособления этнических общностей или специального статуса занимаемых ими регионов. Однако даже в таких государствах сегодня возможен ренессанс этнонационализма.

Ключевые слова: этничность, этническая общность, государственная территория, государственное устройство, нация, многонациональное государство, этнотерриториальная фрагментация, федерализм, территориальная автономия, национальные меньшинства.

В современном мире, пожалуй, не существует государств, которые можно было бы назвать моноэтническими. У. Коннор отмечает, что население лишь приблизительно 9% от общего количества стран является относительно гомогенным в этническом отношении. Остальные же государства характеризуются этническим многообразием [Connor 1994: 29].

Среди них, в свою очередь, выделяется категория государств, в которых так называемый этнический фактор положен в основу территориального устройства. Образованные по этническому или языковому признаку политико-территориальные единицы (национально-территориальные автономии, субъекты федерации) можно обнаружить не только в России, но также в Бельгии, Дании, Испании, Италии, Индии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Эфиопии и ряде других стран. Сравнительные исследования федерализма показывают, что федераций, в структуре которых присутствуют «этнические» или «языковые» субъекты, больше, чем федераций, построенных исключительно по территориальному признаку [McGarry, O'Leary 2007: 183]. В зарубежной литературе последних лет для обозначения данного типа государств часто используется термин «многонациональное (мультинациональное) государство» (*multinational state*), а также «многонациональный федерализм» (*multinational federalism*). В научный обиход данные термины вошли главным образом благодаря работам по сравнительной политологии Р. Уоттса, У. Кимлики, К. Уизра и М. Берджесса. В отличие от «просто» политэтнического многонационального государства определяется Р. Уоттсом как государство, в котором этнические группы, «требующие большего признания их этнической идентичности, имеют в качестве первоначальной цели

не стать отдельным самоуправляемым сообществом, но изменить законодательство и институты государства таким образом, чтобы обеспечить себе лучшие условия (*accommodation*) для поддержания культурных различий» [Watts 2007: 227]. Формой такой *аккомодации* культурных различий в конечном счете может выступать именно самоуправление, предоставляемое региону, в котором преимущественно проживают представители соответствующей этнической группы. На конституционном уровне институционализация регионального самоуправления оформляется путем закрепления за соответствующим регионом прав автономии с передачей определенной законодательной компетенции (административная автономия, допускающая передачу региону только исполнительно-распорядительной, но не законодательной компетенции, встречается значительно реже и многими западными учеными не рассматривается как автономия), а в федеративных государствах – также путем наделения этнических регионов статусом субъектов федерации.

Попытки ряда российских политологов и этнологов (В.С. Малахов, А.Г. Осипов, В.Р. Филиппов и др.) объяснить феномены многонационального государства и этнического федерализма исключительно в терминах влияния так называемой советской теории этноса и инерции «сталинского» понимания нации и «национального вопроса», приведших к «эссенциализации этноса», кажутся вполне аргументированными в *российском* контексте, но выглядят неубедительно в контексте *сравнительном*: наличие у некоторых этнических общностей собственных регионов мы можем обнаружить и в тех государствах, которые не испытали на себе влияния советского подхода к решению «национального вопроса».

Для осмысления влияния этнической структуры населения страны на выбор конкретной формы государственного устройства, закрепляемой на конституционном уровне, и объяснения того, почему ряд этнических групп имеет «свои» регионы, представляется необходимым сделать две вещи. Во-первых, следует проанализировать само понятие «этническая общность» (или «этническая группа») в том значении, в каком оно используется в конституциях многонациональных государств. Во-вторых, требуется обозначить связь между этническими группами и территорией. Это дает возможность сформулировать несколько утверждений, которые, по нашему мнению, проливают свет на природу многонациональных государств, позволяя объяснить этот феномен в более широком контексте.

Этничность, понимаемая в обществе модерна и постмодерна как результат индивидуального выбора каждого человека, в предельно широкой интерпретации сводится к «индивидуальному соотношению личности с культурно-отличительной общностью» [Тишков 2003: 98]. Этническая группа при этом может быть рассмотрена, во-первых, как «статистическая совокупность» всех индивидов, ассоциирующих себя с ней, и, во-вторых, как существующее в представлении людей «воображаемое сообщество» [Андерсон 2016], представители которого обладают некоторым набором культурных характеристик (реальных или приписываемых), позволяющих идентифицировать друг друга и служащих маркерами, дающими возможность дифференцировать себя от иных сообществ.

Некоторыми российскими учеными в связи с этим ставится под сомнение допустимость приписывания этническим группам, являющимся не более чем мысленными конструктами, каких-либо объективных характеристик и свойств коллективных субъектов права [Мартьянов 2006: 97; Осипов 2008].

Из этих посылок часто выводится утверждение о бесосновательности этнического федерализма, как и в целом любых форм национально-территориальной автономии [Филиппов 2003]. В юридической литературе тем не менее правосубъектность этнических групп (независимо от используемого для их обозначения названия – «этноты», «этнические общности», «национальности», «меньшинства» и т.д.) обычно не подвергается сомнению. Более того, академик Т.Я. Хабриева, например, говорит о «праве этносов на самоопределение», понимая самоопределение в довольно широком смысле как «свободный выбор каждым народом форм своего существования и тех социально-экономических, политических, административных, иных организационных форм, в которых это право реализуется» и акцентируя внимание на том, что самоопределение не сводится только к отделению от государства [Хабриева 2010]. Именно коллективная правосубъектность этнических групп часто служит основанием конституционно-правовой легитимации национальных субъектов федерации и автономных регионов. Критики такого подхода находят разные объяснения «эссенциализации этносов», вплоть до весьма странных; утверждают, например, что российские ученые из смежных с этнологией областей знания (включая политологов и правоведов) «не знакомы с теми теоретическими интерпретациями этничности и этнических феноменов, которые давно стали доминирующими в западной науке и получили широкое распространение в постсоветской этнологии» [Филиппов 2003: 5]. Однако причины все же следует искать глубже.

Как заметил Б. Андерсон, любые сообщества «крупнее первобытных деревень» – воображаемые [Андерсон 2016: 48]. Но этнические общности тем не менее обладают некоторыми особыми свойствами. При всей подвижности, мифологизированности и в известной степени *мнимости* этноса он остается одной из ведущих форм групповой идентичности и в ряде случаев может занимать центральное место в конструируемой иерархии идентичностей индивидов [Мартьянов 2006]. В архаических обществах, где индивидуализм развит слабо, а образ мышления и поведения человека во многом задается коллективом и сложившимися в нем стереотипами, принадлежность к определенной культурной общности часто рассматривается людьми как обусловленная происхождением, а потому невыбираемая (отсюда – действенность мифа об общем происхождении, часто используемого в этнонационализме). В современном обществе, характеризующемся размыванием идентичностей и развенчиванием мифа о государстве-нации как универсальном и всеобъемлющем основании политической самоидентификации, индивид оказался в ситуации поиска относительно устойчивой общности, обладающей стабильной культурой. И здесь этнос (в отличие от других групп, принадлежность к которым действительно можно выбирать «в зависимости от возраста, ситуации, культурного контекста, настроения,

гражданства» [Мартьянов 2011: 61]) снова может предстать в глазах человека как нечто неизменное, то, принадлежность к чему невозможно отнять [Фадеечева 2003: 49] (точнее, человек, возможно, *хочет* обнаружить в этносе подобные свойства).

Такое, довольно распространенное, восприятие этничности обусловило ее активную эксплуатацию различными политическими силами. Политики, объявляющие себя «этническими лидерами» и «борцами за права («угнетенного») народа», нередко используют мобилизационный потенциал этничности для решения собственных узкогрупповых задач, прибегая к социальному мифотворчеству, апеллируя к коллективному и призывая людей выходить на улицы, голосовать на «референдумах о независимости» и даже брать в руки оружие во имя борьбы за «права своего народа». В результате, как заключает В.С. Мартьянов, этнос становится не просто одной из ведущих форм корпоративной идентичности, но и «эффективным конструктивистским мифом», предназначенным для достижения политических целей [Мартьянов, 2006: 96]. Для индивидов же осознание принадлежности к определенной этнической общности выступает средством социализации, солидаризации, включения в политические процессы.

Консолидация на основе этнической или языковой идентификации приводит к возникновению «массового субъекта», способного обуславливать коллективные действия [Панкевич 2012]. От имени этнических групп выдвигаются требования и юридические притязания по следующим позициям: язык, территория, участие во власти, распределение ресурсов и т.д. В результате не только члены этой группы, но и другие индивиды начинают рассматривать данную группу и ее интересы как часть реальности.

На протяжении последних десятилетий можно наблюдать достаточно много примеров «конструирования» этнических групп. Именно так в середине XX в. на северо-востоке Индии появился народ *нага*, прежде состоявший примерно из двух десятков изолированных друг от друга горных тибето-бирманских племен, говоривших на разных, неродственных, языках. Национализм был принесен сюда английскими проповедниками, христианизировавшими эти племена и обучившими их английскому языку, а также некоторыми представителями племен, получившими образование в Великобритании и ставшими впоследствии «этническими лидерами». В результате мифотворчества и пропаганды возникла новая надплеменная «национальная» идентичность; в построенное на ее основе движение за освобождение народа нага и создание независимого Нагалима была вовлечена большая часть племенных жителей, архаическая культура которых диктовала необходимость коллективной принадлежности. Движение сопровождалось (и продолжает сопровождаться) вооруженным насилием. На деле главная цель этнократической элиты нага – контроль над землей и природными ресурсами (особенно над имеющимися в данном регионе запасами нефти и газа). Частично они его получили в 1962 г., когда официальные власти Индии были вынуждены пойти на уступки сепаратистам и создать этнический штат Нагаленд, наделив его законодательный орган исключительным правом принимать законы по вопросам земли

и природных ресурсов на основе *обычного права нага* и фактически выведя данную территорию из сферы действия союзного законодательства. По такому же сценарию (но, возможно, с меньшим кровопролитием) проходило выстраивание национальной идентичности соседних с нага племен *мизо*.

Именно в качестве *консолидированных субъектов*, от имени которых могут формулироваться требования к власти, этнические группы проникли в правовое пространство, где не происходит создания новых политических акторов, но, скорее, фиксируется *status quo* уже существующих. В конституциях и законодательстве ряда стран наряду с таким коллективным субъектом, как народ (или нация), объединяющим в себе всех граждан государства, появляются «национальности» (Испания), «меньшинства» (Индия), языковые «сообщества» (Бельгия), этнические «общины» (Кипр), «народы» и «этнические общности» (Россия), «первые нации» (Канада) и т.д. В настоящее время правосубъектность отдельных этнических групп (главным образом, коренных народов) признается во многих международно-правовых документах. Можно констатировать, что юридическая институционализация этнических групп, таким образом, – явление, характерное не только для советского и постсоветского права.

Признание правосубъектности за «воображаемыми» коллективными сущностями не является для права (по определению представляющего собой систему мысленных конструкций) чем-то новым или необычным. Подобно этническим группам, коллективной правосубъектностью обладают и другие общности, за которыми признается наличие консолидированного интереса, например политико-территориальные единицы государства, местные сообщества и т.д. Гражданскому праву хорошо известен такой консолидированный субъект, как юридическое лицо (правосубъектность юридических лиц и других организаций объясняется несколько иной логикой, однако это не отменяет «воображаемого» характера данных субъектов). Наконец, собственно *народ*, объявленный носителем и первоисточником государственного суверенитета, а равно *нация* (в значении «государство») – это тоже мысленные конструкты. Крайне любопытно, что среди российских последователей конструктивизма, категорически возражающих против «эссенциализации» этносов и признания за ними коллективных прав, правосубъектность наций и государств – таких же «воображаемых сообществ» – принципиальных возражений не вызывает; они апеллируют к ней как к данности.

Р. Брубейкер, один из наиболее последовательных критиков этнического «группизма», пишет о том, что этнические общности как социальные группы отнюдь не лишены оснований: они берут истоки в категориальной природе мышления человека, обуславливающей необходимость классификаций, отнесения предметов, явлений и людей к тем или иным категориям. Еще в детстве у человека формируются знания о том, как причастность к той или иной этнонациональной категории может выражаться в разных сферах жизни. Этнические категории формируют и институциональное, и неформальное познание и узнавание, структурируют восприятие и направляют поведение [Брубейкер 2012: 56-58]. Конечно, отмечает Брубейкер, мысли-

тельная категория еще не есть группа. Однако подобная классификационная логика «натурализует социальное различие путем разделения социального мира на якобы глубоко укорененные группы», в связи с чем «люди интерпретируют социальный опыт в расовых, этнических и национальных терминах». Такое знание, указывает Брубейкер, является «общеразделяемым знанием о социальных объектах» [Брубейкер 2012: 162, 166–167]. По этой причине «реальность этничности и национальности... не зависит от существования этнических групп или наций как субстанциональных групп или сущностей» [Брубейкер 2012: 30]. Академик В.А. Тишков в одной из недавних публикаций [Тишков 2016: 5] также акцентировал внимание на том, что высказываемая им критика использования понятия «этнос» в качестве аналитической категории не означает отрицания существования самих этнических общностей.

Таким образом, даже с учетом того что этнические общности – не форма существования общества, а, скорее, способ восприятия существующих в нем культурных различий, вполне допустимо объяснение определенных социальных процессов, в основе которых лежит коллективное действие политических акторов, в терминах внутригруппового и межгруппового взаимодействия. В западной политической науке довольно сильна исследовательская традиция, где в качестве единицы анализа принимается именно группа (этническая, языковая, религиозная, политическая и т.д.), или, равнозначно, сегмент. Приверженцы этой традиции, отвечая на критику со стороны либеральных конструктивистов, обычно апеллируют к тому, что существование в обществе относительно устойчивых групп всегда может быть определено эмпирическим путем, в связи с чем свое видение социального пространства они считают в большей степени приближенным к реальности, нежели аналитические построения, пренебрегающие групповой сегментацией общества [McGarry, O'Leary, Simeon 2008: 53].

Изменение отдельными индивидами в течение жизни своей этнической принадлежности («дрейф идентичности»), приводимое иногда как едва ли не главное доказательство невозможности юридической идентификации этнических групп [Осипов 2008], с точки зрения рассматриваемого подхода не способно оказать заметного влияния на сам факт существования этнических общностей, многие из которых воспроизводятся в воображении людей на протяжении нескольких поколений и существуют постольку, поскольку принадлежность к ним в каждый момент времени осознается *достаточным* числом индивидов. Принятие такой посылки позволяет рассматривать этнические (как и любые другие) группы как относительно устойчивые образования. При этом, разумеется, не происходит примордиализации этнических групп: сегментация общества обусловлена выбором индивидов.

Представление общества как фрагментированного на сегменты позволило политологам сформулировать концепцию разделенного общества (*divided society*). В таком обществе межгрупповые различия являются достаточно выраженными и не просто носят культурный характер, но также служат маркерами для политической мобилизации [Choudhry 2008: 5].

Изучение процессов социального взаимодействия в разделенных обществах, начало которому было положено, в частности, влиятельными работами А. Лейпхарта [Lijphart 1969; 1979] и Д. Горовица [Hogowitz 1985], оказалось значительно более продуктивным в плане объяснения феноменов многонационального государства и этнического федерализма, нежели простые декларации о мнимости этнических групп, способные завести в тупик любого исследователя, интересующегося вопросами территориальной организации государства. Федерализм, понимаемый в духе У. Райкера как результат политической сделки между элитами, выступающими от имени территориально обособленных сообществ [Riker 1964: 12-15], или как своеобразный «пакт элит» [Мартьянов 2010; Панкевич 2008], приобретает вполне выраженные «этнические» черты в ситуации, когда территориально обособленное сообщество (точнее, значительная часть его представителей) осознает наличие у него выраженных отличительных культурных, языковых или религиозных черт и эти черты служат, во-первых, основаниями формулирования этнорегиональными элитами политических притязаний данного сообщества и, во-вторых, маркерами политической мобилизации членов этого сообщества, обуславливающей коллективные действия и приводящей к юридическому признанию у данной общности консолидированного интереса. Данная логика применима не только к государствам, являющимся федерациями в соответствии с их конституциями, но также и к унитарным государствам, в которых отдельные инструменты федерализма используются для территориального распределения государственной власти (так называемые *power-sharing*) между центральными правительствами и органами власти «этнических» автономий.

Отношение этнических групп к территории является, таким образом, немаловажным моментом в объяснении феномена многонациональных государств. Среди современных российских авторов распространен тезис об условности связи этничности и территории [Малахов 2006: 147]. Тем не менее значимость такой связи, как и ее возможных последствий в правовой реальности, не следует приуменьшать. Ландшафт и природные ресурсы оказывают определенное влияние на историческое развитие человеческих сообществ [Тишков 2003: 286]; соответствующее пространство при этом наполняется в воображении людей культурным смыслом [Murphy 1989: 412], то есть становится *осмысленным*. «При всей условности групповых образований, – заключает В.А. Тишков (подспудно признавая *реальность* коллективных действий), – именно группы, а не отдельные индивиды конструируют смысл занимаемого ими пространства... Осмысленное пространство... потому и существует, что есть людское сообщество, члены которого... считают себя принадлежащими данному пространству» [Тишков 2003: 296]. Смысл пространства обычно описывается в терминах «родина», «родной дом». Родина в большинстве случаев воспринимается как нечто «данное от природы», «невыбираемое»; то, что нельзя изменить [Андерсон 2016: 238].

Если какая-либо этническая общность связывается в представлении людей с определенным географическим пространством, которое наполняется этническим смыслом, возникает совпадение двух идентичностей –

этнической и территориальной, каждая из которых в определенном контексте может рассматриваться человеком как устойчивая и даже неизменная, а в совокупности могут образовывать сложную конгломератную этнотерриториальную идентичность. Такое совпадение выступает одной из предпосылок, которые «в наибольшей степени благоприятствуют возникновению межобщинных конфликтов и росту сепаратистских тенденций» [Подвинцев 2011: 224] (приведенный выше пример с народом нага – одна из иллюстраций данного тезиса. Вряд ли получилось бы объединить эти племена под лозунгом единой нации, если бы они не разделяли общее географическое пространство).

Именно в условиях *этнотерриториальной фрагментации* чаще всего возникает «утрированная этничность» (М.А. Фадеичева) и развивается региональный этнонационализм – идеология, формирующая представление об этнической общности не просто как о культурно отличном народе, но как о *нации*, то есть народе, обладающем собственными политическими традициями и институтами, а потому имеющем право на собственное национальное государство [Connor 1994]. При этом главным трендом регионального этнонационализма является «все более полное и жесткое разделение на “наших”, принадлежащих этнонации, и “чужих”, исключаемых из этой общности» [Фадеичева 2006: 130]. Даже если собственных политических традиций и институтов не существует, они могут быть сконструированы в воображении людей с помощью мифов о «тысячелетней истории государственности» и «многовековой борьбе против угнетения» и приправлены лозунгом «Это – наша земля!» [Гишков 2003: 353]. Так во многих государствах обозначилось явление, получившее в западной науке название «внутренних наций», «безгосударственных («субгосударственных») наций» (У. Кимлика) или «побочных наций» (У. Коннор). Сегодня перечень подобного рода «наций», воспроизводимый в ряде публикаций, насчитывает (в зависимости от выбранной методологии анализа и политических вкусов автора) от полусотни до нескольких сотен наименований. Т.Я. Хабриева отмечает, что современный период (начавшийся, по ее оценкам, с конца 1970-х гг.) характеризуется все учащающимися попытками доказать, что право на *свое* государство имеет каждый народ [Хабриева 2010: 42].

Политические притязания «внутренних наций» имеют различный характер и разную степень выраженности. Они могут быть манифестированы достаточно ярко (как, например, в Шотландии или Каталонии) либо носить латентный характер или даже быть «угасшими» (Швейцария). В одних случаях этнонационализму присущ этноцентризм, сопровождающийся нетерпимостью к представителям других этнических групп, в особенности к тем, кого принято считать «оккупантами» (Кашмир, Тибет, упоминавшийся выше Нагаленд); в других этнические (называющие себя национальными) лидеры используют риторику *гражданского национализма* и *политической нации*, выступая от лица не только представителей «титულიной» этнической группы, но всех, кто живет в соответствующем регионе (Квебек, Каталония, Шотландия, Уэльс, Южный Тироль); впрочем, их национализм также не лишен этнических оснований [Брубейкер 2012: 242–244].

Для понимания феномена многонациональных государств следует более внимательно рассмотреть этнонационализм как явление. Несложно заметить, что логика регионального этнонационализма, по сути, воспроизводит логику классического европейского национализма, сопровождавшего образование государств-наций. В обоих случаях присутствуют некоторая воображаемая культурная общность и определенное пространство ее распространения, символически связанное с нею. Нации возникали постольку, поскольку культурное сообщество мыслилось также сообществом пространственным. Разделяемые культурные представления и общее пространство – два компонента, которые лежат в основе классических наций. Сказанное справедливо даже в отношении тех наций, которые часто характеризуются в литературе как исключительно *политические* и обусловленные не какой-либо общей культурой, а приверженностью лишь общим политическим ценностям, – французской и американской. Во Франции всегда подчеркивалась важность языкового единообразия, а готовность усвоить французский язык (бывший в свое время языком меньшинства) считалась непременным условием для того, чтобы считаться французом [Хобсбаум 1998: 37]. Знаменитый американский «плавильный котел» формировался во многом на основе культуры «белых англо-саксонских протестантов» (*white anglo-saxon protestants, WASP*) [McGarry, O'Leary 2007: 186], непременным атрибутом которой является английский язык (даже законодательно не закрепленный в качестве официального). Французский язык во Франции и английский в США, очевидно, не просто носили инструментальный характер как средство общения между представителями различных культур (подобно английскому языку, используемому в современных Индии или ЮАР в качестве *lingua franca*), но прежде всего служили средством *аккультурации* всех, кто хотел (или был вынужден в силу проживания на соответствующей территории) становиться частью нации. С этой точки зрения американский и французский национализмы, как и большинство других национализмов, вполне могут быть снабжены приставкой «этно-» (если, конечно, этничность понимать предельно широко – так, как мы ее обозначили вначале для целей этой статьи) [Брубейкер 2012: 251-255]. Этнонационализм служил основой образования большинства современных государств [Паин 2003: 20-21].

Логика этнонационализма, сопровождавшая процессы возникновения государств-наций, была перенесена и на этнические меньшинства, складывавшиеся как «побочный продукт» формирования европейских наций. Территориально обособленные меньшинства появились в Европе в связи с тем, что границы распространения языков, послуживших культурной основой будущих наций, редко совпадали с внутренними и внешними границами империй, ставшими впоследствии государственными границами [Андерсон, 2016: 148]. «Большие» нации и территориально обособленные «внутренние» меньшинства уже тогда воспринимались как явления одного порядка [Осипов 2008: 160]. Следовательно, в том, что этнические общности мыслились и идентифицировались в тех же терминах национализма, что и «большие» нации, нет ничего удивительного. В представлении людей они воспроизводили одни и те же признаки, с тем лишь исключением, что

внутренние этнические общности не получили *своего* государства. Их национализм был в той же (и, будучи реакционным, даже в большей) степени этническим, что и национализм «больших» наций.

Впоследствии логика этнонационализма была заимствована этническими общностями, проживающими за пределами западного мира. Она была принесена сюда колонистами, а также представителями местных народов, получившими университетское образование в метрополиях. Но, произрастая на архаичной почве, азиатский и африканский этнонационализм часто приобретал значительно более жестокий и не всегда предсказуемый характер.

Контраргументом, призванным «остудить» региональный этнонационализм, часто выдвигался (и продолжает выдвигаться) тезис о том, что на соответствующие регионы уже распространяется в полном объеме государственный суверенитет тех или иных государств-наций, несовместимый с альтернативными территориальными притязаниями «внутренних наций». По этой причине этнические общности могут выступать не в качестве политических субъектов (такowymi являются государства-нации), но лишь в качестве субъектов культурно-исторических [Мартьянов 2006]. Данный подход воспроизводит известный в международном праве и широко применявшийся до середины XX в. принцип первенства, означающий, что государство, объявившее какую-либо территорию, не занятую другим государством, «приватизированной» и установившее на ней эффективное присутствие, распространяет на данную территорию свой суверенитет, не допускающий параллельных суверенитетов каких-либо других субъектов (этот принцип использовался, например, при колониальных завоеваниях и территориальных экспансиях). Социальное мифотворчество многих государств-наций строилось вокруг концепции *гражданской нации*, призванной объединять всех граждан страны на основе разделения общих политических ценностей безотносительно этнической принадлежности. Надо сказать, что в ряде случаев риторика гражданской нации, подкрепляемая ассимиляционистскими проектами и сопровождавшаяся успехами государств в выстраивании иерархий идентичностей, где центральное место занимала именно гражданская (государственная), а не этническая принадлежность, действительно способствовала социальному сплочению и ослаблению (но не искоренению) регионального этнонационализма (примером может служить Франция).

В ответ в социальном мифотворчестве регионального этнонационализма все чаще стала использоваться идеологема, объясняющая отсутствие у «внутренних наций» *собственных* государств как результат случайности и историческую несправедливость. В XX в. «внутренний» этнонационализм получил новую идеологическую подпитку в виде права народов на самоопределение – сперва в интерпретации Вудро Вильсона (источником вдохновения для этнических элит служила, в частности, автономия, предоставленная под эгидой Лиги Наций в 1921 г. Аландским островам), а затем в интерпретации В.И. Ленина (после победы Союза ССР во Второй мировой войне социальная организация данного государства, одной из основ которой

выступало право наций на самоопределение, рассматривалась многими полиэтническими государствами как образец для подражания). Признание права народов на самоопределение в документах ООН и СБСЕ/ОБСЕ (при весьма размытом и ситуативном толковании самого понятия «народ») явилось одним из условий широкого распространения этнонационализма по всему миру – настолько широкого, что он стал восприниматься как угроза территориальной целостности государств.

Итак, свойства нации, перенесенные в представлении людей на территориально обособленные этнические общности и ставшие *общеразделяемым* знанием, получали в ряде стран юридическую институционализацию. Поскольку нации являются коллективным субъектом права, то правосубъектностью, аналогичной (хотя и не тождественной) правосубъектности наций, наделялись и «внутренние нации» (независимо от того, каким термином они обозначались в конституции государства). Ответ на возрастающие притязания от имени региональных этнических общностей часто оказывался таким, как если бы они *действительно* были нациями. Регионам проживания «внутренних наций» все чаще предоставлялась *территориальная автономия*, гарантии которой закреплялись в конституциях (например, ст. 2 Конституции Испании, гарантирующая национальностям и районам их проживания право на автономию). Наметилась тенденция к дроблению государств: если в момент образования Европейского союза в его пределах существовало только 14 автономных регионов, то в настоящий момент их более 70 [Хабриева 2010: 198].

Сложно отрицать, что территориальная автономия – это своего рода «облегченная» версия государства-нации, воспроизводящая все его основные признаки: относительно однородное с культурной точки зрения население (не лишенное, однако, как и любое «нормальное» государство, собственных «внутренних» меньшинств), географическое пространство, символически связанное с данным населением и его культурой, и, наконец, сама автономия, выступающая *суррогатом суверенитета*. Предоставление территориальной автономии и территориальное распределение государственной власти (*power-sharing*) – это своеобразный компромисс: «внутренняя нация» получала *нечто*, похожее на *свое* национальное государство, но при этом оставалась под суверенитетом «материнского» государства. Это *нечто* могло приобретать разные формы – главным образом, автономного региона в составе унитарного государства (Каталония, страна Басков, Сицилия, Южный Тироль, Гренландия, Корсика) или национального субъекта федеративного государства (лингвистические субъекты федерации в Бельгии; Нагаленд, Мизорам и другие этнические и лингвистические штаты в Индии; союзные и автономные республики в Союзе ССР; республики в Российской Федерации и т.д.). Территориальная автономия воспроизводит давно известную «матрешечную» модель государства в государстве, существовавшую прежде в империях и примененную затем при построении федеративных государств (во многих федерациях название субъектов федерации – «штат», или *state*, есть не что иное, как государство). Надэтническая *гражданская нация* оказывалась при этом весьма удобной концепцией, по-

зволяющей объединять существующие в государстве «внутренние нации» под «зонтиком» общих политических ценностей, принципов и идеалов и сохранять таким образом внутреннее единство государства. Своеобразным образцом и источником вдохновения служили Швейцария и Канада, а также (в период с 1945 г. до конца 1980-х гг.) Советский Союз – федерации, в которых территориальная организация конституировалась в силу культурных различий населения регионов.

Несложно заметить и другое: территориальная автономия (в том числе автономия «этнических» субъектов федераций) чаще всего (за исключением единичных случаев) была именно вынужденной мерой, ответом на вызовы этнонационализма и этнорегионального сепаратизма – не только в Европе, но и в мире в целом. Там, где государство могло быть смоделировано как *мононациональное*, оно было *мононациональным*. В политологии данный феномен обозначается как *вынужденный регионализм*. Есть основания утверждать, что практически любой регионализм, в основе которого так или иначе лежит этнический (в широком смысле, включая языковой) фактор, является в той или иной степени вынужденным.

В связи с этим полагаем возможным сформулировать два утверждения. Во-первых, государство всегда складывается как национальное (или *мононациональное*) в том случае, когда оно не сталкивается с организованным внутренним этнонационализмом (даже при наличии признаков этнотерриториальной фрагментации). Именно это обстоятельство способствовало возникновению национальных федераций в США, Бразилии, Австралии и других иммигрантских обществах. Этническое многообразие здесь не отразилось на государственном устройстве, а отдельные попытки коренного населения противостоять экспансии подавлялись с использованием широкого арсенала инструментов – от принудительной ассимиляции до геноцида.

Во-вторых, при наличии внутреннего этнонационализма и территориальных притязаний, выдвигаемых от имени одной или нескольких этнотерриториальных общностей, выбранная форма государственного устройства (уже при создании государства, как это случилось в Канаде и Швейцарии, либо в дальнейшем) будет являться результатом «сделки» между политическими элитами, представляющими государство в целом и отдельные этнические общности. Государство может сложиться как *мононациональное*, если этнорегиональные элиты оказываются слабыми, не способными или не желающими мобилизовать этнический потенциал населения, а государство, в свою очередь, обладает достаточными ресурсами для установления и закрепления единообразных институтов на всей территории страны, охватывающих все ее население и позволяющих интегрировать региональные этнические общности в то, что принято называть «политической нацией» (такой подход используется, например, во Франции и Румынии). И напротив: если этнорегиональные элиты обладают довольно сильными позициями и пользуются широкой поддержкой среди населения региона, а государство является ослабленным (например, в результате кризиса, военных действий, внешнего вмешательства и т.д.), то чаще всего происходят уступки в пользу «этнических» регионов: за ними закрепляется

автономный статус, а этническое многообразие отражается в конституционно закрепленной форме государственного устройства. Как утверждает У. Сафран, только сильное государство может позволить себе решить – предоставлять региону территориальную автономию или нет. Слабые же государства чаще всего вынуждены делать уступки в пользу этнократических элит [Safran 2000].

Для иллюстрации данных утверждений приведем несколько примеров. По мере расширения США на запад осваивались обширные североамериканские территории, в течение длительного периода времени занимаемые индейскими племенами и рассматриваемые индейцами как *свои*. Однако племенам не была знакома идеология национализма; они не обладали институтами, способными мобилизовать собственную этничность и эффективно противостоять экспансии. Их вожди не были способны ни объединить племена на основе этничности, ни сформулировать политические притязания от имени своей группы. В результате США не встречали практически никакого сопротивления своей экспансионистской политике. У. Кимлика описывает это следующим образом: «Когда Соединенные Штаты покорили юго-запад в ходе войны с Мексикой в 1848 г., они... лишили коренных поселенцев их языковых прав и институтов, установили экзамены на грамотность, чтобы затруднить им голосование, и поощряли массовую миграцию в эту местность, чтобы испаноязычное население оказалось в меньшинстве» [Кимлика 2000: 251].

Иную картину мы наблюдаем в Индии. В 1956 г. здесь был введен лингвистический федерализм: все штаты образовывались по языковому признаку, чтобы в каждом из них доминирующим был один из языков. Лингвистический федерализм сам по себе был мерой во многом вынужденной, связанной не только с языковым многообразием регионов, но и с этнотерриториальным сепаратизмом тамиллов и некоторых других народов. Штат Пенджаб на севере Индии, однако, оказался двуязычным: в западной его части в основном был распространен региональный язык *панджаби*, а в восточной – хинди. Границы были так установлены намеренно: большинство панджабоязычного населения исповедуют сикхизм, и в случае создания монолингвистического панджабоязычного штата сикхи составили бы в нем подавляющее число жителей (в то время как в целом по стране 80 % населения – индуисты). Здесь сплелись воедино даже не две, а три идентичности: этнорегиональная (пенджабцы), языковая (носители языка *панджаби*) и религиозная (сикхи, при том что Пенджаб считается исторической родиной сикхизма и имеет для него особое символическое значение). Считалось, что такое положение может привести к политизации религии и усилить этноконфессиональный сепаратизм (в то время в этой части страны уже звучали лозунги в пользу создания сикхского государства Сикхистана (Халистана)). В двуязычном же Пенджабе, включавшем в себя также хиндиязычные районы, сикхи оказывались в меньшинстве. Как в то время полагали, это лишало их оснований рассматривать Пенджаб в качестве *сикхского* штата и должно было снизить уровень сепаратистских настроений [Яковлев 2014].

Однако то, что могли позволить себе сделать американцы в отношении индейцев в XIX в., оказалось в XX в. недоступным для политического руководства Индии, столкнувшегося с внутренним этнонационализмом. Вопреки ожиданиям, деполитизации религии не случилось, а конфликты между сикхским и индуистским населением только усилились. В результате после десяти лет противостояния, оборачивавшегося кровопролитиями, индийское правительство пошло на уступку: из Пенджаба были выделены хиндиязычный штат Харьяна и город Чандигарх [Chadda 2006]. Пенджаб же в итоге стал не только монолингвистическим штатом, но и штатом с доминирующим неиндуистским населением. Данное решение во многом было запоздавшим: конфликт к тому времени приобрел уже значительные масштабы к вынужденным мерам следует отнести и создание штата Нагаленд (как и других этнических штатов на северо-востоке). Примечательно, однако, что Конституция Индии (в отличие от Конституции Испании) формально не рассматривает этнические и лингвистические штаты как реализацию меньшинствами права на автономию или признание их государственности (хотя фактически здесь применена все та же логика «внутренних наций»).

Таким образом, этнический фактор в территориальном устройстве государства во многом оказался продуктом современной системы мироустройства, основной единицей которой являются государства-нации. Безусловно, в разных социально-исторических и политических контекстах этничность и ее связь с территорией могли получать различные интерпретации и наполняться разными смыслами. Однако совершенно ошибочно, говоря о России, видеть в ее нынешнем политико-территориальном устройстве результат *исключительно* советской национальной политики. Несмотря на наличие специфических черт и особенностей, позволяющих отграничивать федерализм советского типа от других многонациональных федерализмов (анализ этих черт не охватывается целями настоящей статьи), он может быть рассмотрен в более широком общемировом контексте и вписан в его логику.

В заключение позволим себе сформулировать еще одно утверждение. Если территория, на которой концентрированно проживает та или иная этническая общность, вследствие регионального этнонационализма получает автономный статус, обратный процесс ее «деэтнизации» маловероятен (по крайней мере, если речь не идет об использовании принудительной ассимиляции, форсированной миграции и других методов, несовместимых с представлениями о демократическом управлении и правах человека). По мере развития институтов демократии и формирования общегражданской идентичности этнотерриториальная фрагментация может сглаживаться (чаще всего в качестве классического и, пожалуй, единственного примера здесь приводится Швейцария), но не исчезает, и время от времени вероятно проявление новых всплесков этнонационализма, что мы и наблюдаем сегодня в мире (опросы и референдумы о независимости в Квебеке, Каталонии, Шотландии; сецессия Крыма и Южного Судана; рост протестных движений в Северной Ирландии, регионах Бельгии и Эфиопии и т.д.).

Многонациональные государства, таким образом, в большей степени подвержены риску регионального этнонационализма и этносепаратизма. Однако этнический федерализм и национально-территориальная автономия, способные выступить *условиями* и даже *катализаторами* этнонационализма, не могут рассматриваться в качестве его *причины*. Этнонационализм может возникнуть и в тех странах, которые сконструированы и длительное время существуют как *мононациональные*, но сохраняют при этом внутреннюю этнотерриториальную фрагментацию. Гарантиями сегодня уже не являются ни последовательное проведение в жизнь концепции *политической нации*, ни непризнание коллективных прав этнических общностей, ни сам отказ учитывать этнотерриториальную фрагментацию в государственном устройстве. Франции, не признающей существования внутри себя никаких этнических групп, а тем более их права на автономию, так и не удалось искоренить баскский, бретонский, прованский и особенно корсиканский региональный этнонационализм. Возможно, в скором времени мы услышим о «референдумах о независимости» Бретани во Франции или Трансильвании в Румынии.

Процессы глобализации, приведшие к ослаблению роли государств в формировании иерархии идентичностей и утрате ими монополии на выработку политической повестки, скорее всего, уже в обозримом будущем обернутся ростом этнонационализма и этнорегионального сепаратизма. Концепция государства-нации сегодня уже не воспринимается как универсальная форма политической организации общества и пространственной организации власти. Истории с референдумами о независимости в Квебеке, Шотландии и Каталонии получают, вероятно, не только продолжение, но и отголоски в других частях Европы и всего мира. Каким будет ответ государств – предсказать сложно. Не исключено, что некоторые *мононациональные* государства в перспективе будут вынуждены признать себя *многонациональными*, а *многонациональные* – распастись на ряд *мононациональных*. Однако во вновь образованных *мононациональных* государствах также заявят о себе внутренние меньшинства, и вопрос о признании их политического статуса неминуемо возникнет в политической повестке этих государств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Андерсон Б. 2016. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М. : Кучково поле. 416 с.
- Брубейкер Р. 2012. Этничность без групп. М. : Издат. дом Высш. шк. экономики. 408 с.
- Кимлика У. 2000. Федерализм и сецессия: восток и запад // *Ab Imperio*. № 3-4. С. 245-318.
- Малахов В.С. 2006. Настоящее и будущее «национальной политики» в России // *Прогнозис: журнал о будущем*. № 3 (7). С. 144-159.
- Мартьянов В.С. 2006. Строительство политической нации и этнонационализм // *Логос*. № 2 (53). С. 94-109.
- Мартьянов В.С. 2010. Федерализм: политическое устройство или пакт элит? // *ПОЛИС : полит. исслед.* № 1. С. 173-184.

Мартьянов В.С. 2011. Риторика идентичности в условиях модерна: кому выгодно? // Социум и власть. № 4. С. 61-65.

Осипов А.Г. 2008. Эссенциалистские представления об этничности в системе преподавания правовых специальностей // Расизм в языке образования. СПб. : Алетейя. С. 140-169.

Паин Э.А. 2003. Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. М. : Фонд «Либерал. миссия». 164 с.

Панкевич Н.В. 2008. Модели федеративного устройства: закономерности политической трансформации. Екатеринбург : УрО РАН. 194 с.

Панкевич Н.В. 2012. Логика коллективных политических действий в условиях глобализации // Сибир. филос. журн. Т. 10, № 3. С. 114-119.

Подвинцев О.Б. 2011. Региональная идентичность в де-факто двунациональных субъектах РФ: конкурентный потенциал и попытки стимулирования // Идентичность как предмет политического анализа : сб. ст. по итогам науч.-практ. конф. (Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН, 21-22 окт. 2010 г.) / отв. ред. И.С. Семенов, Л.А. Фадеева. М. : ИМЭМО РАН. С. 224-231.

Тишков В.А. 2003. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М. : Наука. 544 с.

Тишков В.А. 2016. От этноса к этничности и после // Этнограф. обозрение. № 5. С. 5-22.

Фадеичева М.А. 2003. Homo quadratus в этнополитическом измерении // Вестн. Омск. гос. ун-та. № 5. С. 45-50.

Фадеичева М.А. 2006. Этнонационализм в политическом дискурсе российского постмодерна // ПОЛИТЭКС : полит. эксперт. Т. 2, № 2. С. 125-133.

Филиппов В.Р. 2003. Критика этнического федерализма. М. : Центр цивилизац. и регион. исслед. РАН, 379 с.

Хабриева Т.Я. 2010. Современные проблемы самоопределения этносов : сравнительно-правовое исслед. М. : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. 288 с.

Хобсбаум Э. 1998. Нации и национализм после 1780 года. СПб. : Алетейя. 306 с.

Яковлев А.Ю. 2014. Эволюция религиозного терроризма в индийском штате Пенджаб // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. № 26. С. 144-148.

Chadda M. 2006. Minority Rights and Conflict Prevention: Case Study of Conflicts in Indian Jammu and Kashmir, Punjab and Nagaland [Электронный ресурс]. URL: <http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-82-Minority-Rights-and-Conflict-Prevention-Case-Study-of-Conflicts-in-Indian-Jammu-and-Kashmir-Punjab-and-Nagaland.pdf> (дата обращения: 19.06.2017).

Choudhry S. 2008. Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law: Constitutional Design in Divided Societies // Choudhry S. (ed.) Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation? New York : Oxford Univ. Press. P. 3-40.

Connor W. 1994. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton : Princeton Univ. Press. 236 p.

Horowitz D. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley : Univ. of California Press. 707 p.

Lijphart A. 1969. Consociational Democracy // World Politics. Vol. 21, № 2. P. 207-225.

Lijphart A. 1979. Consociation and Federation: Conceptual and Empirical Links // Canadian J. of Political Science. № 3. P. 499-515.

McGarry J., O'Leary B. 2007. Federations and Managing Nations // Burgess M., Pinder J. (eds.) *Multinational Federations*. London ; New York : Routledge. P. 180-211.

McGarry J., O'Leary B., Simeon R. 2008. Integration or Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation // Choudhry S. (ed.) *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?* New York : Oxford Univ. Press. P. 41-88.

Murphy A.B. 1989. Territorial Policies in Multiethnic States // *Geographical Rev.* Vol. 79, № 4. P. 410-421.

Riker W. 1964. *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston : Little, Brown & Co. 169 p.

Safran W. 2000. Spatial and Functional Dimensions of Autonomy: Cross-National and Theoretical Perspectives // *Identity and Territorial Autonomy in Plural Societies* / ed. by W. Safran and R. Maiz. London ; Portland : Frank Cass. P. 11-34.

Watts R. 2007. Multinational Federations in Comparative Perspective // Burgess M., Pinder J. (eds.) *Multinational Federations*. London ; New York : Routledge. P. 225-247.



A. Mochalov. Territoriya, etnichnost' i fenomen «mnogonatsional'nykh» gosudarstv [Territory, ethnicity, and phenomenon of multinational state], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 4, pp. 33-52. (in Russ.).

Artur N. Mochalov, Candidate of Law, Associate Professor,
Chair of Constitutional Law, Ural State Law University. Russia, Ekaterinburg.
E-mail: artur.mochalov@usla.ru

Article received 10.07.2017, accepted 18.08.2017, available online 01.11.2017

TERRITORY, ETHNICITY AND PHENOMENON OF MULTINATIONAL STATE

Abstract. The article discussed problematic issues concerning reflection on the ethnic factor in organization of territorial structure of a state. The author analyzes modern approaches of understanding ethnicity, ethnic groups, and their collective rights in constitutional law. In addition, the interrelation between ethnicity and territory is discussed. However, being an advocate of the constructivist paradigm, and considering ethnicity as a result of individual choice, the author recognizes possibility of using the term “ethnic group” as an analytical category in studying political processes relating to territorial structure of states.

It is argued that ethnic federalism and national-territorial autonomy is the result of global tendencies, which have started since emergence of nation-states, rather than a creature of so-called “Soviet” conception of the “national question”. The author states that the European logic of nationalism was transferred into ethnic minorities. Consequently, many minority groups are considered as “home nations”, or “internal nations”. Territorial autonomy of regions inhabited by “home nations” repeats the main features of nation-state, and represents its “light” version.

From the author’s view, ethnic federalism and national-territorial autonomy arose in the states with internal ethno-nationalism where regional ethnic elites had strong positions. Reflection of “ethnic factor” in territorial structure of a state is often a compelled compromise between ethnic elites and the government. In those states where there is

no internal ethno-nationalism or where the governments have sufficient resources for its elimination (by assimilation, for example) the model of “mono-national” state is usually applied. This model rejects any special status for territorially concentrated ethnic communities or ‘ethnic’ regions. However, today the rise of ethno-nationalism can occur even in ‘mono-national’ states.

Keywords: ethnicity; ethnic group; state territory; nation; territorial structure of state; multinational state; ethnic-territorial fractionalization; federalism; territorial autonomy; national minorities.

References

Anderson B. *Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneni natsionalizma* [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism], Moscow, Kuchkovo pole, 2016, 416 p. (in Russ.).

Brubaker R. *Etnichnost' bez grupp* [Ethnicity without Groups], Moscow, Izdat. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 2012, 408 p. (in Russ.).

Chadda M. *Minority Rights and Conflict Prevention: Case Study of Conflicts in Indian Jammu and Kashmir, Punjab and Nagaland*, 2006, available at: <http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-82-Minority-Rights-and-Conflict-Prevention-Case-Study-of-Conflicts-in-Indian-Jammu-and-Kashmir-Punjab-and-Nagaland.pdf> (accessed 19 June 2017).

Choudhry S. Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law: Constitutional Design in Divided Societies, *Choudhry S. (ed.) Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?* New York, Oxford Univ. Press, 2008, pp. 3-40.

Connor W. *Ethnonationalism. The Quest for Understanding*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1994, 236 p.

Fadeicheva M.A. *Etonatsionalizm v politicheskom diskurse rossiyskogo postmoderna* [Ethnonationalism in the Political Discourse in Post-Modernistic Russia], *POLITEKS : polit. ekspert.*, 2006, vol. 2, no. 2, pp. 125-133. (in Russ.).

Fadeicheva M.A. *Homo quadratus v etnopoliticheskom izmerenii* [Homo Quadratus in Ethnopolitical Dimension], *Vestn. Omsk. gos. un-ta*, 2003, no. 5, pp. 45-50. (in Russ.).

Filippov V.R. *Kritika etnicheskogo federalizma* [The Critics of Ethnic Federalism], Moscow, Tsentr tsivizats. i region. issled. RAN, 2003, 379 p. (in Russ.).

Hobsbawm E. *Natsii i natsionalizm posle 1780 goda* [Nations and Nationalism Since 1780], St. Petersburg, Aleteyya, 1998, 306 p. (in Russ.).

Horowitz D. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley, Univ. of California Press, 1985, 707 p.

Khabrieva T.Ya. *Sovremennye problemy samoopredeleniya etnosov : sravnitel'no-pravovoe issled.* [The Modern Problems of Self-Determination of Ethnic Groups], Moscow, In-t zakonodatel'stva i sravn. pravovedeniya pri Pravitel'stve RF, 2010, 288 p. (in Russ.).

Kymlicka W. *Federalizm i setsessiya: vostok i zapad* [Federalism and Secession: the East and the West], *Ab Imperio*, 2000, no. 3-4, pp. 245-318. (in Russ.).

Lijphart A. Consociation and Federation: Conceptual and Empirical Links, *Canadian J. of Political Science*, 1979, no. 3, pp. 499-515.

Lijphart A. Consociational Democracy, *World Politics*, 1969, vol. 21, no. 2, pp. 207-225.

Malakhov V.S. *Nastoyashchee i budushchee «natsional'noy politiki» v Rossii* [Modernity and Future in the ‘National Policy’ in Russia], *Prognosis: zhurnal o budushchem*, 2006, no. 3 (7), pp. 144-159. (in Russ.).

Martianov V.S. *Federalizm: politicheskoe ustroystvo ili pakt elit?* [Federalism: a Political Structure or a Covenant of Elites?], *POLIS : polit. issled.*, 2010, no. 1, pp. 173-184. (in Russ.).

Martiyarov V.S. *Ritorika identichnosti v usloviyakh moderna: komu vygodno?* [The Rhetoric of Identity in the Modernity Conditions: Who Benefits from It?], *Sotsium i vlast'*, 2011, no. 4, pp. 61-65. (in Russ.).

Martiyarov V.S. *Stroitel'stvo politicheskoy natsii i etnonatsionalizm* [Building of a Political Nation and Ethnonationalism], *Logos*, 2006, no. 2 (53), pp. 94-109. (in Russ.).

McGarry J., O'Leary B. Federations and Managing Nations, *Burgess M., Pinder J. (eds.) Multinational Federations*, London, New York, Routledge, 2007, pp. 180-211.

McGarry J., O'Leary B., Simeon R. Integration or Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation, *Choudhry S. (ed.) Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?* New York, Oxford Univ. Press, 2008, pp. 41-88.

Murphy A.B. Territorial Policies in Multiethnic States, *Geographical Review*, 1989, vol. 79, no. 4, pp. 410-421.

Osipov A.G. *Essentsialistskie predstavleniya ob etnichnosti v sisteme prepodavaniya pravovykh spetsial'nostey* [Essentialist Imagination of Ethnicity in the System of Law Education], *Rasizm v yazyke obrazovaniya*, St. Petersburg, Aleteyya, 2008, pp. 140-169. (in Russ.).

Pain E.A. *Mezhdru imperiy i natsiy. Modernistskiy proekt i ego traditsionalistskaya al'ternativa v natsional'noy politike Rossii* [Between Empire and Nation: the Modernistic Project and Its Traditional Alternative in the National Policy of Russia], Moscow, Fond «Liberal. missiya», 2003, 164 p. (in Russ.).

Pankevich N.V. *Logika kollektivnykh politicheskikh deystviy v usloviyakh globalizatsii* [The Logic of Collective Action in the Conditions of Globalization], *Sibir. filos. zhurn.*, 2012, vol. 10, no. 3, pp. 114-119. (in Russ.).

Pankevich N.V. *Modeli federativnogo ustroystva: zakonomernosti politicheskoy transformatsii* [The Models of Federal Structure: the Logic of Political Transformation], Ekaterinburg, UrO RAN, 2008, 194 p. (in Russ.).

Podvintsev O.B. *Regional'naya identichnost' v de-fakto dvunatsional'nykh sub»ektakh RF: konkurentnyy potentsial i popytki stimulirovaniya* [Regional Identity in De-facto Double-Nationalities Subjects of the RF: the Competitive Potential and Attempts to Foster], *Semenenko I.S., Fadeeva L.A. (resp. eds.) Identichnost' kak predmet politicheskogo analiza : sb. st. po itogam nauch.-prakt. konf. (In-t mirovoy ekonomiki i mezhdunar. otnosheniy RAN, 21-22 okt. 2010 g.)*, Moscow, IMEMO RAN, 2011, pp. 224-231. (in Russ.).

Riker W. *Federalism: Origin, Operation, Significance*, Boston, Little, Brown & Co, 1964, 169 p.

Safran W. Spatial and Functional Dimensions of Autonomy: Cross-National and Theoretical Perspectives, *Safran W., Maiz R. (eds.) Identity and Territorial Autonomy in Plural Societies*, London, Portland, Frank Cass, 2000, pp. 11-34.

Tishkov V.A. *Ot etnosa k etnichnosti i posle* [From Ethnis to Ethnicity and Beyond], *Etnograf. obozrenie*, 2016, no. 5, pp. 5-22. (in Russ.).

Tishkov V.A. *Rekvium po etnosu: issledovaniya po sotsial'no-kul'turnoy antropologii* [Requiem for Ethnos: Research on Social and Cultural Antropology], Moscow, Nauka, 2003, 544 p. (in Russ.).

Watts R. Multinational Federations in Comparative Perspective, *Burgess M., Pinder J. (eds.) Multinational Federations*, London, New York, Routledge, 2007, pp. 225-247.

Yakovlev A.Yu. *Evoluyutsiya religioznogo terrorizma v indiyском shtate Pendzhab* [Evolution of Religious Terrorism in an Indian State of Punjab], *Sovremennyye tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyy vzglyad*, 2014, no. 26, pp. 144-148. (in Russ.).



Дуран А.С. Испанский либерализм XIX века: от идеалов национального суверенитета к конституционализму // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4. С. 53–80.

УДК 329.12

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.5380

ИСПАНСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ XIX ВЕКА: ОТ ИДЕАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА К КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМУ

Армандо Сероло Дуран¹

PhD, ассоциированный профессор

Мадридский университет Сан-Пабло (CEU),

Испания, г. Мадрид. E-mail: azduran@ceu.es

Материал поступил в редколлегия 30.08.2017 г.

Либерализм появляется в Испании в начале XIX в. как спонтанное народное движение против наполеоновского абсолютизма. Нация обретает самосознание, благодаря чему в Испании зарождается политический модерн. Особенность испанской политической реальности заключается в том, что в Испании, в отличие от других стран, либералы борются за возведение на престол Фердинанда VII, а не против монархии как таковой, как это было, например, во Франции. Отношения либерализма с монархией придают ему весьма специфический характер. Идеологически это оригинальный либерализм, потому что он происходит от сугубо национальной политической реальности – так называемой средневековой испанской монархии, основанной Католическими королями и ценимой как умеренными либералами, так и правыми радикалами. Эта политическая форма является для испанского либерализма основополагающим мифом и предшественницей современной конституционной монархии. Испанский либерализм – это не реализованная до конца попытка, он так и не обрел своего политического тела и оказался несовместимым с интересами народных масс, что и привело к гражданской войне 1936–1939 гг.

¹ Армандо Сероло Дуран (Armando Zerolo Durán) изучал право и политические науки в университете San Pablo-CEU (Мадрид), докторскую степень получил в Сорбонне (Paris I), работал в университетах Нотр-Дам (США) и Вюрцбурга (Германия). Является специалистом по истории идей Нового и Новейшего времени; переводит труды французских консерваторов Р.-Ф. Шатобриана и Б. де Жувенеля на испанский язык. В настоящее время является профессором факультета права в университете San Pablo-CEU. В 2013 г. выпустил монографию «Генезис государства-Минотавра. Политическое мышление Бертрана де Жувенеля» («Génesis del Estado Minotauro. El pensamiento político de Bertrand de Jouvenel»). В 2017 г. выйдет в свет его новое исследование «Конституционная монархия. Принципы либерального государства по Шатобриану» («La Monarquía Constitucional. Principios del Estado Liberal según Chateaubriand»).

Редакция журнала «Научный ежегодник ИФИП УрО РАН» благодарит профессора А. Сероло Дурана за любезно предоставленный текст.

Ключевые слова: либерализм, испанская монархия, суверенитет, современный конституционализм, Испания XIX в.

Введение. Либерализм в Испании – это доктрина, которая претендовала на то, чтобы возглавить транзит от средневековой испанской монархии, какой она сложилась во времена Католических королей, к современной конституционной, имеющей этактистский характер, однако реализация этой доктрины провалилась из-за незрелости политических институтов, монархического абсолютизма и общей недееспособности социально-политической элиты.

Конечно, попытка поднять статус понятия «либерализм» до категории концепта, которая предполагает универсальность и необходимость, означает игнорирование того факта, что политические идеи формируются в определенные моменты истории и являются изменчивыми, а следовательно и объясняются лишь в тесной связи с историческими событиями. Просвещенные либералы, возможно, грешили историцизмом, ощущая себя реинкарнацией универсальной идеи свободы и полагая, что к концу истории осуществится то, что зародилось еще во времена классической Греции и Рима и лишь затмилось в Средние века. Так, например, Альберто Листа¹ писал в газете «Цензор» («El Censor»), что «либерализм связан с сущностью европейских обществ ... он – результат всей истории, древней и новой... Свобода является продуктом цивилизации» [цит. по: Fernández Sebastián 2006: 130]. Ощущение, что мы живем во времена исторической завершенности, вероятно, и придало зарождающемуся в Испании либерализму утопический характер или, иначе говоря, характер внеполитический.

Завершенность испанского либерализма как политической реальности была достигнута лишь тогда, когда осуществилась попытка соединить его конкретную историческую конфигурацию с определенным местом, с локально-историческими условиями Испании. Задача, которую уже на протяжении многих десятилетий решает научная школа Истории идей, основанная еще Х. Ортега-и-Гассетом под непосредственным влиянием Л. фон Ранке и развитая выдающимися испанцами Л. Диесом дель Корралем и Д. Негро Павоном, а также такими современными западными историками, как Р. Козеллек, Дж. Г.А. Покок, К. Скиннер, П. Розанваллон, Х. Фернандес Себастьян и др., имеет целью анализ политических концептов в подчеркнуто историческом аспекте, что позволяет очистить идею либерализма от всего поверхностного, а затем обратиться и к частным случаям ее проявления в качестве политического феномена.

Опираясь на данную методологию, которая заставляет уважать исторический характер политических идей, мы считаем, что необходимо выделять по меньшей мере два этапа в развитии испанского либерализма. Первый

¹ Альберто Родригес де Листа-и-Арагон (1775–1848) – выдающийся испанский математик, поэт-романтик, журналист и литературный критик; сооснователь и со-редактор газеты «Цензора» (1820–1822 гг.). По политическим взглядам Листа был леворадикальным либералом (прогрессистом), принадлежал к сторонникам радикальной модернизации по французскому образцу. Его именем названа одна из станций мадридского метро (примеч. переводчика).

этап – это либерализм «досеанистов» («либералов 1812 года»), который начал складываться в 1808 г. во время Войны за независимость (1808–1814 гг.) и завершился в 1834 г. с принятием Королевского статута. Испанский либерализм на этом этапе мы полагаем *либерализмом национального суверенитета*, поскольку он определяет современный концепт суверенитета, который первоначально был чужд испанской политической традиции, и во многом предвосхищает дальнейшее развитие этого импульса. Второй этап мы могли бы обозначить как *конституционалистский либерализм*; он начинается с принятия Королевского статута и этактистской доктрины разделения властей, а завершается в 1874 г. в связи с успехами монархической реставрации после падения I Республики и явной девальвацией идеалов либерализма XIX в.

Либерализм национального суверенитета (1808–1834). Так называемый либерализм «досеанистов» дает начало современному испанскому конституционализму.

*Испанские источники либерализма как политической реальности*¹. Для Фернандеса Себастьяна нет «никакой серьезной причины для того, чтобы утверждать, что первый реально существовавший либерализм был продуктом некоей концептуально-политической лаборатории, появление которой спровоцировал кризис монархии Бурбонов в испанской Атлантике в начале XIX в.» [Fernández Sebastián 2006: 134]. Безусловно, слово «либерализм» существовало уже и в Англии, и, прежде всего, во Франции, тем не менее фактом является то, что именно в Испании оно начинает использоваться систематически для обозначения определенной партии или политической фракции. Это происходит в самом начале Войны за независимость, когда на Учредительных кортесах в Кадисе оформляются политические силы, заинтересованные в отстаивании определенной политической программы. Непосредственные свидетели об этом говорят прямо. Например, граф де Торено² указывает, что «публика определенно называла либералами тех, кто принадлежал к первой из двух партий, может быть, потому, что они в своих речах часто употребляли такие слова, как “*принципы*” или “*либеральные идеи*”, а отсюда, как это бывает, от вещей слово перешло и на людей» [цит. по: Fernández Sebastián 2006: 133]. Переход от идей к людям, от рефлексии –

¹ «Слово “либеральный”, применимое к партии или индивидам, является по своему происхождению испанским и модерным, поскольку использовать его начали в Кадисе в 1811 г. и уже после этого оно перешло во Францию, Англию и другие страны. Под “свободными искусствами” римляне понимали занятия свободных людей. “Либеральность” в смысле великодушной толерантности или позитивной интерпретации мышления и странных фактов – слово, употребляемое давно, особенно англичанами. Так, Э. Бёрк в 1790 г. в своей жесткой критике Французской революции о первых революционерах сказал: *Their liberty is not liberal*. Во Франции до 1799 г. никто не использовал слово “либеральный” в политическом смысле, пока Бонапарт, покончив со свободой, не заставил своих писак говорить, что его триумф над Советом пятисот и революционерами был триумфом либеральных идей. Из общеупотребительного слова “свобода” рождается новое слово “либерализм”» [Alcalá-Galiano y Villavicencio 1955: 440].

² Хосе Мария Кейпо де Льяно-и-Руис де Сарабия, VII граф де Торено (1786–1843) – выдающийся испанский историк, видный представитель либерально-консервативного крыла партии «модерадос» (умеренных либералов); в 1834–1835 гг. занимал несколько министерских постов и был Председателем Правительства (примеч. переводчика).

к организации, а отсюда и к коллективному действию – все это говорит о существовании политической реальности и – в данном случае – о политическом рождении либерализма. Аналогичное свидетельство предоставляет нам и другая выдающаяся персона, Агустин де Аргуэльес¹, который считает, что причиной, по которой либералами начали называть определенную фракцию, стала «частота использования в дискуссиях и дебатах слова “либерал” не только в своем первоначальном смысле, но и для выражения всего того, что по своему духу и тенденции указывало на зарождение и утверждение свободы» [цит. по: Fernández Sebastián 2006: 133].

Слово «либерал» имеет античное происхождение [см.: Diccionario de Autoridades 1734] и получает распространение благодаря такой добродетели, как широта взглядов. Будучи помещенным в политический контекст, это слово начинает обозначать способ правления, реализуемый с великодушием, умеренностью и осторожностью. По этой причине, например, считает Д. Negro Павон, политическая концепция святого Фомы Аквинского может считаться либеральной, да и вся традиция управления, опирающегося на закон, – от Платона и до различных смешанных форм правления (средневековых и возрожденческих республиканских) – также может быть названа либеральной [см.: Negro Pavón 1995]. Мы, в свою очередь, предпочитаем связывать зарождение понятия «либерализм» с фактом, фиксацией определенного коллективного действия. По нашему мнению, до тех пор пока не произошел переход от идей к личностям, мы вообще не можем говорить о явлении либерализма как политической реальности. Соответственно, опираясь на упрямые исторические свидетельства, мы утверждаем, что либерализм впервые обозначился в Испании во время Войны за независимость, в 1808 г., и его купель – Кадисские кортесы 1812 г.; именно поэтому, как утверждает Д. Negro Павон, «нельзя говорить об испанском либерализме в полной мере до Войны за независимость» [Negro Pavón 1988: 50].

Исторические предпосылки и политические мифы. В Испании начала XIX в. шла полемика между двумя реминисценциями умершей политической формы, известной как средневековая испанская монархия [см.: Diez del Corral 1998: 2049-2495], – между монархическим абсолютизмом и современной конституционной монархией. Две очень различные формы правления, и, очевидно, они не в равной степени подходили для формирующейся испанской нации, что и объясняет те трения, которые происходили на протяжении всего XIX в. Средневековая испанская монархия разлагалась на протяжении уже довольно длительного времени, и ее институты, которые еще пока сохранялись, были уже нерелевантными. «Испания была, – говорит Диез дель Корраль, – монархическим государством, “государством” короля, и когда последний из них исчез, вся политическая организация дезинтегрировалась, а то, что пришло на ее место, оказалось арабским халифатом» [Diez del Corral 1998: 389].

¹ Агустин де Аргуэльес Альварес (1776–1844) – адвокат и дипломат, наиболее выдающийся представитель зарождающегося в Испании либерализма, прозванный на Кадисских кортесах за свои ораторские способности «Божественным»; один из авторов либеральной Конституции 1812 г., ставшей «точкой отсчета» в истории испанского либерализма (примеч. переводчика).

Исторически подлинно испанской формой правления на протяжении более четырех веков была средневековая испанская монархия. Как для современников, так и для тех, кто жил в начале XIX в., эта форма воплощала в себе идеал самоуправления и высшие добродетели идеальной Испании. Отсюда как либералы, так и монархисты использовали ее в качестве образа и даже риторического оборота, с тем чтобы построить собственные политические модели. Например, либерал Франсиско Мартинес Марина¹ выступал, как и множество его коллег, за эту форму правления, явно ее идеализируя: «Кортесы не только создавали основы славы и счастья республики; их политика, осторожность и мудрость содействовали консолидации грандиозного здания, которое возводилось, а также многократной его поддержке во время разрушительных бурь и защите от огромных рисков и опасностей. Величественный национальный конгресс всегда был убежищем и безопасной бухтой, в которой пришвартовывался корабль Кастилии» [Martínez Marina 1957: 187]. То же самое говорит и либерал Альваро Флорес Эстрада²: несмотря на притеснения, которые испытывала Испания со времен кастильского восстания коммунерос, когда были убиты древние свободы и все их героические защитники, в теории никогда не шла речь о том, что король должен подчиняться законам; что его власть проистекает из них; что Кортесы были единственным законодательным органом, а не монарх [см.: Flórez Estrada 1969]. В любом случае, определенно, что средневековая испанская монархия существовала в XIX в. как политический миф, как на тот момент довольно распространенная идея, используемая одними – для ослабления абсолютизма, а другими – для защиты суверенитета монарха против суверенитета нации.

История средневековой испанской монархии длится от Фердинанда II Католика до несчастного Фердинанда VII. Речь идет о политической форме, весьма отличной от остальных европейских монархий. Французская монархия, например, сводилась к одному королевству, которое постепенно интегрировало в себя новые территории, после этого власть над ними передавалась феодальным сеньорам; в Испании же существовал плюрализм королевств, «которые могли сближаться благодаря личным союзам под одним регентом, не интегрируясь или реинтегрируясь в одну корону» [Diez del Corral 1998: 2056]. Французское *royaume* было результатом расширения первоначальной территории посредством инкорпорации других территорий, в то время как средневековая испанская монархия никогда не собиралась унифицировать территорию в одно единственное королевство. Как пишет либерал первой половины XX в.

¹ Франсиско Хавьер Мартинес Марина (1754–1833) – выдающийся испанский юрист и историк права. Более всего прославился своими работами по истории и теории испанского парламентаризма, которые легли в основу политической практики «модератос» (умеренных либералов); считается «отцом-основателем» истории испанского права как науки (примеч. переводчика).

² Альваро Флорес Эстрада (1765–1853) – испанский экономист и адвокат, леворадикальный либерал (прогрессист). Принимал активное участие в революционных преобразованиях времен «либерального трехлетия» (1820–1823), поддерживал идеи дезамортизации церковных земель (примеч. переводчика).

Сальвадор де Мадарьяга¹, «король Испании правил не одним, а несколькими королевствами, каждое из которых имело свою администрацию, свои Кортесы, свои законы и свои фуэрос» [Madariaga 1979: 38].

Задачи Католических королей – Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской – были широко реформаторскими и даже инновационными, о чем можно говорить без смущения; как подметил Никколо Макиавелли, они были «новыми государями», основоположниками порядка и оригинальной политической формы, характерной для эпохи Возрождения. Ничто, писал флорентиец, не может внушить к государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки. Из нынешних правителей Фердинанда Арагонского, короля Испании, можно было бы назвать новым государем, ибо, слабый вначале, он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира; и все его действия исполнены величия. В XV в. Кастилия начала погружаться в анархию и страдать от тирании мелких сеньоров, скрывающихся за стенами своих крепостей. В этот момент фактически отсутствовало представление об общем благе, а идея единства просто исчезла. Именно поэтому миротворческая и конструктивная деятельность Католических королей была столь значима, тем более что она привела к очень оригинальному политическому единству.

По мнению традиционалиста Марселино Менендеса-и-Пелайо², Фердинанд II и Изабелла I скрепили историческую конституцию Испании и, как он выразился в знаменитом пассаже, который достоин быть процитирован *in extenso*, с энергией великих политических деятелей решили целую серию стоящих перед ними задач: «Реформа феодальных кормлений и пожалований – подлинное завоевание королевской четы, столь неловко отвергнутое Генрихом IV; включение военных орденов в состав короны, благодаря чему стало невозможно существование государства в государстве; запрет на возведение новых крепостей и уничтожение многих древних, со стенами которых навсегда разрушилась и сеньориальная тирания; централизация власти посредством Советов; новые возможности для трибуналов, сделавших исполнение правосудия более быстрым и оперативным; растущее с каждым днем господство законников; нивелирование аристократии как политического элемента, но не как социальной силы; попытки кодификации законов, осуществленные доктором Монтальво и Лоренсо Галиндесом, пусть преждевременные, но не бесполезные; прямое и эффективное вмешательство короны в муниципальный режим, глубоко разрушенный анархией предыдущего века; новая экономическая система, развивающаяся в бесчисленных прагматиках,

¹ Сальвадор де Мадарьяга-и-Рохо (1886–1978) – выдающийся испанский философ XX в., историк, писатель-эссеист и литературный критик; по своим идеям, взглядам и ценностям прославился как либерал-европеист, ревностный борец с диктатурой генерала Ф. Франко и антикоммунист (примеч. переводчика).

² Марселино Менендес-и-Пелайо (1856–1912) – выдающийся испанский филолог, литературный критик и историк-неокатолик, известный в Испании как «изобретатель Традиции»; номинировался на Нобелевскую премию по литературе; один из основоположников современного испанского эстетского традиционализма (примеч. переводчика).

которые, хотя и страдали чрезмерными запретами, поскольку тогда этого требовали нужды национального производства, вполне заслуживают похвалы в том, что касается унификации монет, мер и весов, развития морской индустрии, внутренней торговли и скотоводства; превращение средневековых военных группировок в современную армию с ее непобедимым нервом знаменитых терсиос, которые в течение последующих полутора столетий господствовали в Европе; и много еще чего разнообразного, жестокое очищение расы посредством таких жестких инструментов, как инквизиция и эдикт 1942 г.; тюремная реформа, весьма вовремя и настойчиво осуществленная, спасла нас от религиозной революции XVI века ... Все это различные аспекты одного и того же политического мышления, единство и величие которого видны всем, кто, будучи свободен от нынешних страстей, смотрит на спектакль истории объективно» [Menéndez Pelayo 2007: 94–95].

Не менее важной была и концепция внешней политики, поскольку территория Испании расширялась с невиданной доселе скоростью, создавая предпосылки для того, чтобы последователи Католических королей могли начинать свои политические авантюры с совершенно иных стартовых позиций; вследствие этого средневековая испанская монархия начала разрушаться сразу же, как только за морем начались войны за независимость и появились первые либеральные течения.

Первые идеологические проявления либерализма. Либерализм в Испании сформировался в хаотической обстановке Кадисских кортесов, и его диалектическая конфигурация складывалась по мере того, как он вступал в отношения со своими политическими оппонентами; при этом он никогда не упускал из виду образ средневековой испанской монархии и всегда держался подальше от якобинства.

Принадлежность к либерализму определялась в Испании через ориентацию на совершенно различные течения мысли: на английское Просвещение, французский индивидуализм или кастильскую традицию. В протоколах заседаний мы можем найти ссылки на Альфонсо X Мудрого, Франсиско Суареса, святого Фому Аквинского, Джона Локка, Иеремию Бентама или Шарля-Луи Монтескье; при этом речь идет о таких исторических формах, как Римская республика, кастильские коммунары, Англия и США, и очень мало, что нормально в плане дистанцирования, о французской революции и якобинстве [см.: Fernández Sebastián 2006: 147]. Кроме того, имеют место (а отсюда и важность средневековой испанской монархии как активного мифа) постоянные ссылки на наши древние институты и историю Испании. Например, либерал середины XIX в. Андрес Боррего¹, делая обзор первого этапа в развитии либерализма, говорит следующее: «Либеральный принцип, принцип реформаторский, происходит... из нашей собственной истории; его

¹ Андрес Боррего Морено (1802–1891) – выдающийся испанский политический журналист, стоявший у истоков парламентской коалиции «Либеральный союз» (вторая половина 1850-х – первая половина 1860-х гг.); на протяжении большей части своей карьеры последовательно занимал центристские позиции между леворадикальными (прогрессистами) и умеренными («модератос») либералами; в рамках последних по своим идеям, взглядам и ценностям был близок к левой фракции «пуританос» (примеч. переводчика).

колыбель – наша земля, инстинкты народа, и мы никогда, как говорят некоторые, не имели чрезмерной склонности заимствовать инновации, реализованные другими нациями» [Vorrego 1970: 54]. Занимаясь «самокритикой» и наблюдая за завершением первого этапа в развитии либерализма, Боррего продолжает: «В 1812 году либеральный дух стремился внести инновации в ту общественную среду, которая контролировалась привилегированными классами, была поражена интолерантностью и скреплялась монархическим духом, а они в свою очередь создавали проблемы либералам, подпитывали гнев народного идола (короля Фердинанда VII. – А.С.Д.) и подвергали серьезнейшим испытаниям их веру в регенерацию родины» [Vorrego 1970: 104].

Боррего критикует либерализм «досеанистов» («либералов 1812 года») за то, что они, осуществляя «инновации», игнорировали факты настоящего и прошлого, в то время как внимание к историческим формам было крайне важно. На первых этапах своего развития либерализм был не неким нормативом, придуманным «философами», а всего лишь неловкой попыткой адаптировать, реформировать или революционизировать пустоту власти, возникшую в результате народного восстания; и он никоим образом не мог быть связан с Наполеоном – врагом целого народа, отвергаемым всеми. Поэтому и было необходимо, по крайней мере в теории, отгородиться от сторонников Наполеона, а это было возможно лишь в том случае, если бы либералы обратились к подлинно испанскому историческому прошлому. «Наполеон является узурпатором наших законных прав», – сказал конституционалист Диего Муньос Торреро¹ на сессии Кортесов 29 октября 1811 г., и большинство депутатов было согласно с ним; их объединяла ненависть к узурпатору, они отвергали необходимость иностранного вмешательства в дела нашего правительства и отказывались присягать на Байонской конституции незаконному королю. «Я хотел, – писал Мануэль Хосе Кинтана² в своих “Мемуарах”, – чтобы на моей родине были проведены реформы, чтобы она вышла из своего постыдного состояния, в котором находилась, но не в таких понятиях, как это произошло во Франции ... я не хотел бы, чтобы вся нация встала на колени и поклонилась в ноги Визирю» [Quintana 1972: 45]. Однако интерпретации прошлого, средневековой испанской монархии и испанских институтов были столь же разнообразны, как и интересы политиков, вследствие чего история в конце концов превратилась в идеологию, а традиция – в нереальность. В итоге мы можем сказать, что либерализм «досеанистов» грешил идеализмом и остался маргинальным явлением в идеологической борьбе, так и не укоренившись в политической реальности.

«*Либеральная мечта*». Наступивший XIX в. разбудил историческое сознание [см.: Diez del Corral 1956]. Человек XIX в. понимает, что история –

¹ Диего Муньос Торреро-и-Рамирес Мойано (1761–1829) – испанский богослов и философ, выдающийся испанский либерал, внесший значительный вклад в написание Конституции 1812 г., прославился статьей об отмене инквизиции, был ревностным защитником свободы печати (примеч. переводчика).

² Мануэль Хосе Кинтана-и-Лоренсо (1772–1857) – выдающийся испанский поэт-романтик, либеральный журналист, возглавивший патриотическое направление во времена Войны за независимость (примеч. переводчика).

это нечто, что можно «сотворить» и продумать. Это уже не просто великая книга, которую можно прочитать и выучить, это еще и множество белых листов, на которых можно что-то написать. Романтическая тема мыслится и внутри, и вне истории, ее финал еще не предreshен, и кто-то задается вопросами: «Что бы я хотел сделать с этим миром? Какую форму я хотел бы ему придать?». Романтизм, как пишет Карл Шмитт, – это «рождение креативной силы, энтузиазм человека-творца, и благодаря каждый раз новым возможностям зарождается всегда новый мир, но он всегда случаен – мир без субстанции с функциональными ограничениями, без жестких условий, без заключения и без дефиниции, без последней инстанции, мир, который бесконечно следует своим курсом, ведомый лишь волшебной рукой случая, *the magic hand of chance*» [Schmitt 2005: 59–60].

Романтизм был присущ и испанской политике, конкретно – после Войны за независимость, когда некоторые государственные деятели начали задумываться: «А что будет дальше? Какова будет форма, которая должна быть создана, чтобы она смогла существовать в будущем?» [Quintana 1972: 301] Имеется желание реформировать, но не хочется быть якобинцем, и никто не знает точно, что еще можно сказать нового, оттого и идеализируется испанское прошлое. При этом думали, конечно же, что для реформ наступил благоприятный исторический момент и что (здесь явное преувеличение в духе историцизма) плод созрел и должен быть сорван. «Либерализм – это результат всей древней и современной истории», – говорил А. Листа [цит. по: Fernández Sebastián 2006: 130]. История неуклонно двигалась по пути прогресса и, в соответствии с постулатами наиболее радикальных просветительских течений, пришла к своему предназначению в эпоху абсолютизма и Просвещения. Идея Листы в этом смысле вполне ясна: «Нет иного инструмента, чтобы замолчать крик разума, кроме как инквизиция и деспотизм» [El Sensor, periódico político y literario 1822: 161–162]. Испания же, по господствующему в среде либералов мнению, начала приближаться к эпохе Просвещения. Говорилось об иге невежества, которое притесняло народ, и о новой свободе разума. Кинтана в 1813 г. сказал, что «только в настоящее время стало возможным приобщиться к этому великому труду (общественному образованию. – А.С.Д.) с надеждой на успех ... особый разум просвещенных индивидов преодолеет сопротивление устаревших авторитетов» [Quintana 1861: 176].

Складывание «либеральной мечты» началось одновременно с Войной за независимость. Согласно Л. Диесу дель Корралю, война «оставила нацию беспомощной, без политического руководства, повсеместно жестоко израненную, с разрушенной государственной структурой, подготовив тем самым почву для восприятия новых идей» [Diez del Corral 1956: 378]. Муньос Торреро риторически вопрошает: «Что мы сделали в памятном декрете от 24 сентября? Мы объявили Байонские декреты нелегальными и не имеющими силы. А почему? Потому что акт их принятия был совершен без согласия нации» [Antología de las Cortes de Cádiz 1909: 359]. Испанский народ взялся спонтанно за оружие против власти узурпатора и осознал себя как политическую реальность, оформившись тем самым в нацию. Нет сомнения в том, что Война за независимость разбудила сильное национальное

чувство, и это придало огромную силу и оригинальность либерализму на первом этапе его развития. Силу, потому что он происходил от чувств народа, а не от просвещенной или монархически ориентированной элиты, и оригинальность, потому что речь шла о либерализме, который не выступал против монархии, он родился от нации, «захватившей» суверенитет.

Проблема, которая проявилась уже в первые годы, заключалась в том, что испанский либерализм очень отличался от французского или английского, потому что в Испании именно монархия вырвала суверенитет у нации, а не наоборот. «Речь, – пишет Д. Negro Павон, – шла о том, чтобы реставрировать, если уж не практиковать, весьма древнюю доктрину, адаптировав ее к настоящему времени, но на рациональный манер, изображая общество и государство согласными в желаниях и мечтах» [Negro Pavón 1988: 54].

Как и другим течениям европейского политического романтизма, испанскому романтизму не был чужд чрезмерный просветительский оптимизм, но, к сожалению, он утратил ту конкретность, которую предполагает история, и превратил просвещение в слишком идеалистическую идею, чтобы можно было реализовать ее на практике. «Либеральная мечта» лелеялась шесть лет, с 1808 по 1814 г., и завершилась возвращением иногю просвещения вместе с реставрацией абсолютной монархии Фердинанда VII.

Проблема суверенитета. В Кадисской конституции довольно четко выражается либеральная позиция по вопросу о суверенитете, и делается это следующим образом: «Суверенитет покоится в самой сути нации, и ей по этой причине принадлежит исключительное право устанавливать свои фундаментальные законы» (ст. 3). Благодаря этой формулировке Испания полностью переходит на современные политические понятия, понимая суверенитет как предметность, а не как атрибут [см.: Jouvenel 2000].

История политических идей свидетельствует, что в Средние века суверенным был верховный правитель, «*suzerain*», «*superanum*», который стоял выше всех остальных. Идея суверенности связывалась, соответственно, с определенной личностью, которая выполняла политическую функцию управления и имела наивысший статус в плане исполнения закона: это был суверенный король, суверенная власть, то есть слово «суверенный» определяло признак, будучи прилагательным. Когда в Новое время начали говорить о «суверенитете», то уже имели в виду, что это больше не некое свойство, приписываемое некоему имени, а сама сущность. Говорилось уже не о качестве личности, а о власти как таковой, власти устанавливать законы, как говорил Жан Боден, о «законодательном суверенитете» [см.: Verma 1983], который, как известно, станет главным атрибутом государства в «Левиафане» Томаса Гоббса. Суверен уже не был судьей, пытающимся заставить уважать закон, он был личностью, наделенной особой властью – «суверенитетом», чтобы устанавливать законы.

В истории фактов, а не идей, данный концепт суверенитета был чужд средневековой испанской монархии, которая больше занималась тем, что заставляла уважать законы (фуэросы) поселений. Испанские Габсбурги относились к подобной исторической реальности очень трепетно, старались сохранить ее более или менее нетронутой и испытывали серьезные

угрызения совести, когда навязывали свои прагматики; хотя известно, что больше они это делали в Арагоне, чем в Кастилии. Резюмируя, можно сказать, ссылаясь на Д. Негро Павона, что «монархия уважала традиционное законодательство, хотя и не препятствовала при этом забвению законов, которые не соответствовали моменту» [Negro Pavón 1988: 22]. То же самое в начале XIX в. чувствовали и многие либералы, почти в обязательном порядке ссылающиеся в своих речах на эти законы и использующие их в качестве риторического приема для защиты противоположных постулатов. Например, Аргуэльес говорил, что «Конституционная комиссия должна лишь повторить то, что говорит “Фуэро Хузго” (далее ФХ. – А.С.Д.) о правах нации, короля и граждан, о взаимных обязательствах всех по защите законов, о способах их написания и исполнения и т.д.» [Argüelles A de. 1981: 71]; при этом ФХ – это совершенно противоположная либерализму испанская традиция. Говоря о ФХ как о «древней Конституции Испании», законах Арагона, Наварры и Кастилии, Аргуэльес, подобно многим его либеральным единомышленникам, пытался найти аргументы в пользу свободы и независимости нации, а также (почему бы и нет?), и определенной формы монархии – более близкой к современному конституционализму, чем к старой, средневековой форме.

Граф де Торено, также склонный к либерализму, обращается к «испанской традиции», выступая против реставрации абсолютной монархии и в пользу развития новых политических тенденций, полагая, что основа для создания новой политической формы, адекватной новому положению вещей, находится в нашей истории. Он намеренно вспоминает «знаменитую максиму готов “Rex eris si recta facias; si non facias, non eris”¹, увидев в ней основы наших первых свобод» [Queipo de Llano Ruiz de Saravía J.M., VII conde de Toreno. 1907: 286]. Либералы-«досеанисты» как политическая партия были сторонниками умеренного правления и верховенства закона, противниками божественного права королей и в большинстве своем отвергали политический якобизм; при этом для них было предпочтительнее апеллировать к исчезнувшей форме правления испанских Габсбургов и – еще лучше – Католических королей, чем испанских Бурбонов.

Причина враждебности либералов к испанским Бурбонам была связана, как утверждали, с тем, что эта династия ввела такие формы правления, которые были весьма далеки от испанской традиции. Вопреки партикуляризму предшествующих веков Бурбоны проводили политику решительной гармонизации и централизации. С одной стороны, эта их деятельность благоприятствовала экономическому развитию и материальному процветанию нации, с другой – их правление противоречило идеалу самоуправления и притесняло местные свободы, что в непосредственном плане выливалось в отмену политических свобод и вело к установлению просвещенного деспотизма, с чем были согласны далеко не все либералы.

Бурбоны привили Испании очень ясное понимание идеи суверенитета, уничтожив естественные ограничения власти, признаваемые предыдущими

¹ «Ты будешь королем, если будешь поступать правильно, а если нет, то и не будешь» (примеч. переводчика).

династиями. Так, первый испанский Бурбон, Филипп V, уже в самом начале своего правления четко определил, что «одним из атрибутов суверенитета является установление и отмена законов»; при этом Кортесы в расчет не принимались, вследствие чего они и стали исчезать в Арагоне, а в Кастилии превратились в общенациональные. Кортесы собирались четыре раза в правление Филиппа V и по одному разу – при Карле III и Карле IV. В результате монархия достигла «*plenitudo potestatis*», полноты власти, что свойственно государству Левиафана, собственно суверенному государству. «Высшая власть человека, – говорит Negro Павон, – это власть законодателя, и именно ее присвоили себе Бурбоны абсолютно» [Negro Pavón 1988: 33].

Благодаря Бурбонам суверенитет как явление, как королевская власть создавать законы без формальных ограничений превратился в историческую реальность, и с тех пор любые разговоры о политике уже не могли обойти этот вопрос стороной. Соответственно принципиально поменялись и правила политической игры, теперь уже началась битва за высшую суверенную власть. Новая форма, которую приняла эта власть, оказалась, по классификации умеренного либерала Алексиса де Токвиля, различавшего политическую и административную формы централизации, административной, как во Франции (в Англии она была политической), что непосредственно касалось и политических свобод. Администрация, как известно, целенаправленно занимается каждым маленьким поступком человека, конкретно определяя его поведение посредством множества административных регламентов, что, по мнению де Токвиля, ограничивает волю личности, ежемоментно направляемой и контролируемой. Административная централизация – это новая форма деспотизма, и именно она была введена и адаптирована в Испании Бурбонами. Политики и реформаторы той эпохи столкнулись с данным феноменом непосредственно и должны были с этим что-то делать, так как образовался глубокий раскол между правительством и обществом; администрация же монополизировала политическую свободу, оставив общество в маргинальном состоянии.

В результате на Кадисских кортесах нередко случалась путаница из-за проблем с различением двух монархических традиций: средневековой испанской и бурбонской абсолютистской. Так, Гаспар Мельчор де Ховельянос¹ утверждает, что «это политическая ересь – говорить, что нация, конституция которой является полностью монархической, суверенна, или приписывать ей функции суверена; и поскольку суверенитет по природе своей неделим, получается, что ни суверен не может быть лишен какой-либо части суверенитета в пользу другого, ни нация» [Resolución de la Junta Central... 1809]. Эта путаница, или «ересь», объясняет, почему, когда и те и другие говорят о монархии, чтобы критиковать ее или защищать, очень сложно бывает точно понять, какую из них они имеют в виду и какую модель они предлагают. Но в любом случае, пусть монархия Бурбонов и оказалась для испанской нации более чуждой, она являлась одновременно и более реальной, поскольку

¹ Гаспар Мельчор де Ховельянос-и-Рамирес (1744–1811) – один из основоположников испанского Просвещения, представитель патриотического направления в раннем испанском либерализме (примеч. переводчика).

была ближе во времени. Поэтому и предлагать реставрацию «*avant la lettre*» средневековой испанской монархии, когда кастильские Кортесы уже давно были бездействующими, было тем же самым (или даже более вредным) делом, что и сохранять пороки бурбонского централизма. Политики должны исходить из реалий, а идеологические абстракции порождают лишь зло в силу своей неспособности быть применимыми к конкретным фактам и текущим проблемам. Вероятно, это было одним из главных недостатков либеральных идеалов.

Бурбоны принесли суверенитет в Испанию как «власть», и начиная с этих пор великой национальной проблемой стала принадлежность суверенитета, трактуемого как «*plenitudo potestatis*». Либералы спорили, полагая суверенитет принадлежностью нации, монархисты стремились сохранить его в руках Бурбонов, однако и те, и другие, за редким исключением, считали принципы современного государства приемлемыми.

Умеренное правительство и конституционная монархия. Изначальная оппозиция либералов монархическому абсолютизму была, вероятно, одним из наиболее определяющих и интересных аспектов этого движения, а его провал следует отнести к числу наиболее плачевных реальностей в новой испанской истории.

Ключевой вопрос новой испанской истории – обезглавливание незавершенного современного государства; несмотря на то что становление Испании – одна из первых политических реальностей Нового времени, ее государство всегда было слабым и расплывчатым. Война за независимость выявила подобную хрупкость, поскольку, в отличие от соседей, непосредственным результатом войны для которых стало усиление государственной власти, в Испании война происходила спонтанно и, как говорит Диес дель Корраль, «привела в конечном итоге к крайне тяжелому распаду политического единства» [Diez del Corral 1956: 388]. Нация не восстала, как говорили тогда, против незаконного узурпатора, она свергла законного короля. Не нужно забывать, что предыдущий монарх – Карл IV – уступил свою корону сам, и в руках Жозефа Бонапарта она оказалась в результате последующих, уже законных, передач.

Однако в итоге получилось так, что испанская нация восстала против монархического принципа, который не имеет ничего общего с традицией средневековой испанской монархии и является сущностью современного государства. Этот конфликт осмысливался на протяжении всего XIX в. испанскими либералами, которые защищали одновременно испанские республиканскую и конституционно-монархическую традиции; при этом дополнительная сложность заключалась в том, что государство в Испании должно было как-то существовать без своего главы.

Между тем все либералы-«досеанисты» в той или иной степени выступили против реставрации абсолютизма, и, хотя впоследствии в силу обстоятельств они не воспрепятствовали возвращению монарха, сумели разработать дискурс в пользу умеренной монархии. Образцом при этом стали английская и французская монархии, только идеалисты позволяли себе сохранять древние институты средневековой испанской монархии, которые в начале XIX в. были уже во многом разрушены.

«Досеанисты» должны были что-то делать с институциональной пустотой, образовавшейся после пленения короля, и одновременно как-то реформировать испанскую конституционную систему. Для этого они должны были добиться невозможного равновесия: вернуть короля и обратить его в свою либеральную «веру». Аргументы же в пользу суверенитета нации и ограниченного правительства привели испанский либерализм к расцвету. Муньос Торреро, например, говорил, что «нация имеет право устанавливать свои основные законы, и начиная с самых древних времен существования умеренной монархии депутат не может голосовать против воли нации, проявившейся в настоящие времена весьма отчетливо и публично» [Diario de las discusiones y actas de las Cortes 1811: 86]. При этом под понятием «умеренная монархия» он подразумевал, скорее, модель будущего, нежели прошлого, поскольку «умеренная» означает современное равновесие властей, чуждое нашей традиции. Тот же самый оборот присутствует и у Аргуэльеса; его можно видеть почти всегда в диалектике традиции и модерна, которая сложилась на Кадисских кортесах, и именно это позволяет нам называть первую волну либерализма идеальной, тем более что она так и не обрела своих исторических оснований. Аргуэльес, например, указывает: «... (в ФХ – А.С.Д.) утверждается, что корона является избираемой; что никто не может претендовать на королевство, не будучи избранным; что король должен быть назван епископами, магнатами и народом...» – и из этого выводит следующее: «Кто ввиду столь значимых, четких и понятных указаний может осмелиться не признавать в качестве неотъемлемого принципа, что суверенная власть порождается и опирается прежде всего на нацию?» [Argüelles A de. 1981: 71]. Смещение типично современного и рационального суверенитета нации со средневековой испанской монархией, с которой первый имел мало общего, было довольно частым и в определенном смысле даже желательным. Речь шла не о том (по крайней мере, со стороны либералов), чтобы восстановить древнюю монархию, а о том, чтобы найти действенные аргументы в пользу построения конституционной монархии, более или менее адаптированной к испанской реальности. Граф де Торено, для которого было понятно, что речь идет о чем-то новом, выразил эту идею следующим образом: «С одной стороны, («досеанисты». – А.С.Д.) упорно защищали независимость нации, а с другой – начали воздвигать некогда разрушенные, свободные и древние институты» [Queiro de Llano Ruiz de Saravía J.M., VII conde de Toreno. 1907: 286].

В условиях фактического отсутствия монархии, которая была, как сказал Хуан Доносо Кортес¹, больше воспоминанием, чем реальностью, речь пошла о том, чтобы восстановить древнюю доктрину, адаптировав ее к текущему моменту, и перемешать с учением классиков рационализма, их довольно радикальными желаниями и иллюзиями. Кадисские кортесы хотели создать ограниченное правительство на идеальных основах, копируя Англию, историческая реальность которой была весьма отлична от нашей,

¹ Хуан Франсиско Мария де ла Салуд Доносо Кортес-и-Фернандес Канедо, I маркиз де Вальдегамас (1809–1853) – выдающийся испанский политический журналист и дипломат, философ и богослов, перешедший к концу жизни с позиций крайне умеренного либерализма на позиции радикального традиционализма, теоретик диктатуры.

и Францию, которая также пошла не по нашему пути, поскольку реформы государства привели к власти Наполеона.

Жесткий рационализм сторонника теории «общественного договора» Рамона де Саласа¹ отражает именно эту нереалистичность испанской политики: «Когда люди объединяются в общество и принимают Конституцию, они начинают обладать всеми правами, и, соответственно, никто не может лишить их закрепленных привилегий или предоставить новые» [Salas R. de. 1982: 37]. Столь радикальная трактовка теории «общественного договора» была на тот момент, к сожалению, очень распространенной, вследствие чего умеренные ее варианты, действительно способные реализовать реформу существующих политических институтов, либо утратили силу, либо, как это было в случае с преждевременной смертью Ховельяноса, просто не были артикулированы до конца. Между тем практическая цель либерализма, отошедшего от традиции, истории и политической теории, была сформулирована довольно четко: «Вся Европа уже или очень скоро окажется под действием конституционных законов» [El Censor, periódico político y literario 1822: 45]. Желаемой формой правления становится современный конституционализм, то есть конституционная монархия.

Исторический парадокс: в то время как во Франции идеологи монархической реставрации выступили против либерализма (Хартия 1814 г.), в Испании реставрировали монархию именно либералы. Очевидно, что абсолютизм не входил в их планы (в его пользу выступали лишь те политики, которые так и не смогли преодолеть свою инерцию), они хотели построить явно умеренную монархию по континентальной модели.

В итоге на Кадисских кортесах заявляет о себе собственно либерализм, и мы без преувеличения можем говорить о том, что этот первый политический порыв страдал наивностью (впрочем, задним умом сильны все), поскольку речь шла о том, чтобы создать никогда не существовавшую монархию и привить королю-абсолютисту либеральные принципы. Несмотря на то что этот либерализм выступал против царедворцев, но за средневековую испанскую монархию, на деле все перемешалось так сильно, что в результате осуществить желаемое, даже рационально обоснованное «теорией общественного договора», оказалось просто невозможно. Подходя же к делу ретроспективно, мы понимаем, что формой правления, о которой постоянно говорили либералы, была конституционная монархия; однако для ее реализации было необходимо дожидаться принятия Королевского статута 1834 г., и только тогда эта форма стала фактом. Именно 1834 г. открывает новый этап в истории испанского либерализма.

Конституционный либерализм (1834–1874). Второй этап развития либерализма начинается в Испании с принятием Королевского статута и завершается в эпоху Реставрации.

Изменение парадигмы. Испанский либерализм имеет собственные корни и является частью очень специфической национальной истории, однако

¹ Рамон де Салас-и-Кортес (1753–1837) – испанский юрист, основоположник испанской политэкономии, подвергавшийся в 1892–1893 гг. гонениям со стороны инквизиции (примеч. переводчика).

мы не можем отрицать и сильнейшее иностранное влияние, прежде всего со стороны Англии и Франции. Умеренные либералы смогли увидеть, что в Испании королевская власть была фактической, в то время как призывы к суверенитету нации, с одной стороны, и реставрация органической политики – с другой, были далеки от реальности. Они понимали, что испанская нация имеет одного главу и что абсолютизм в Испании уничтожил древние институты, превратив Кортесы в крайне сложно восстанавливаемый политический институт, притом что абсолютизм так и не смог уничтожить до конца различие между *«rex»* и *«regnum»*. Стоило попытаться, и в этом Ховельянос оказался прав, восстановить Кортесы, что фактически означало воссоздать их заново, однако было бы утопией стремиться к тому, чтобы «освободить их от ига тирании», с тем чтобы они начали функционировать сами по себе.

В этом контексте, когда нация осознала и поверила в себя, а государство было обезглавлено, либералы испытали серьезное влияние со стороны французского доктринерства и соответствующей политики французских умеренных либералов. Отдельный вопрос касался того, как ввести систему конституционной монархии в Испании, где никогда не было «монархического принципа», но была средневековая испанская монархия. Современный конституционализм был адаптацией свобод Старого порядка к новым модернистским идеям, но отвергал при этом сильное государство и чрезмерную административную концентрацию, что удалось реализовать во Франции, но не в Испании.

«Монархический принцип». Исторические предшественники французской монархии отличались от испанской; поэтому перенос французской модели на испанскую почву требовал не только решительных мер, но и политического гения, которого, к сожалению, в нашей стране не нашлось. Фактически со времен Старого порядка во Франции сохранилась очень централизованная политико-административная система, завязанная на фигуру короля. Как пишет Диес дель Корраль, «абсолютизм объединил все власти в личности короля, растворив их в институциональной фигуре Короны, и, хотя после революции хотели учредить умеренную монархию, начали с того, что весьма определенно и формально установили монархический принцип» [Diez del Corral 1956: 193]. Древние *«parlements»*, средневековые магистратуры и законы уступили власть королю, и была построена политическая система, которая возводилась вокруг центральной власти.

Во Франции после революции и периода империи возникла проблема: какая политическая форма должна наследовать абсолютизму? Более конкретно вопрос заключался в том, как парламент может контролировать правительство, что на практике означало перераспределение королевских прерогатив, имевшее множество интерпретаций. Господствующее мнение, выраженное Бенжаменом Констаном в его «Рассуждениях о конституции и распределении властей», сводилось к тому, чтобы разделить исполнительную власть, то есть отделить короля от министерств. О короле на тот момент говорилось лишь как о властном модераторе, далеком от текущей политической борьбы и не связанном общественным мнением, благодаря чему во время реставрации он стал одним из ведущих акторов.

Французская конституционная монархия артикулировалась прежде всего на разделении властей, согласно знаменитой формуле Монтескье, и на передаче ведущей роли от исполнительной власти, очень активной во времена абсолютизма, законодательной, что было для современного конституционализма нововведением. Абсолютизм отменил корпоративный принцип, предоставив монархии все полномочия по составлению законов, существенно ослабив средневековый парламент и политический мандат как таковой. Политическая форма Франции была наследницей абсолютизма и наполеоновского цезаризма. Конституционные реформы центрировались на разделении властей, а в рамках исполнительной власти – на дистанцировании короля от его министров.

Королевская власть была модератором и сохраняла королевскую прерогативу, что на практике означало, что она имеет огромное влияние на составление законов, назначение министров и состав палат парламента. Это была попытка ограничить абсолютизм, однако консолидировать монархический принцип. Министры составляли собственно исполнительную власть, но контролировались королем и парламентом, и только нестабильность и отсутствие равновесия властей привели систему к краху уже в 1830 г.

Законодательная власть во французской модели была четко рационализирована и, можно сказать, механизирована, однако в отношении исполнительной этого утверждать нельзя, в чем и заключалась проблема. Речь шла о том, чтобы фрагментировать и сделать более умеренными еще живые абсолютистскую и цезаристскую традиции, ограничив, насколько это возможно, королевскую власть посредством передачи ее министрам, также контролируемым, по крайней мере в идеале, палатами парламента. Тем самым хотели добиться, согласно Диесу дель Корраль, «эффективного отношения между парламентом и монархом» [Diez del Corral 1956: 199], но, когда за королем оставили статус «четвертой власти», законодательная власть потеряла свою репрезентативность, и основы политического режима ослабли.

Реальность была такова, что при наличии умеренной королевской власти и уничтожении абсолютизма государство как единство власти формально уже было учреждено, и речь шла лишь о том, чтобы реорганизовать его в соответствии с конкретными обстоятельствами, возникшими в период революции и империй. Именно в этом и заключается принципиальное различие между французской формой правления, при которой государство было вполне консолидировано, и испанской, в случае которой говорить о собственно зрелом современном государстве было еще нельзя.

Королевский статут (1834). По прошествии времени в Испании либерализм также достигает большей зрелости, «утратив революционные порывы и крайности старого “досеанизма”, чтобы обрести более спокойный тон» [Fernández Sebastián 2006: 168]. Наступило время умеренного – так называемого поппибилистского – либерализма, испытавшего влияние французских либеральных доктринеров [см.: Diez del Corral 1956] и центрированного на защите собственности, основных политических свобод (слова и печати), равновесия властей и цензурованного избирательного права.

Формой, в которую облачилось это новое умеренно-либеральное течение, стал так называемый Королевский статут. Согласно Диесу дель Корралю, «в Королевском статуте концентрировались более или менее развитые идеи, которые составляли характерный набор умеренного либерализма» [Diez del Corral 1956: 407]. Моделью для Статута явилась французская Хартия 1814 г., которая, как сказал Ф.Р. де Шатобриан, учреждала «конституционный катехизис»: общественное мнение, свободы личности, равновесие властей, королевскую прерогативу, двухпалатную структуру парламента и т.д. Статут есть свидетельство о смерти средневековой испанской монархии, которая в Испании уступала дорогу новой форме правления – конституционной монархии, столь необычной изначально для нашей страны.

В Королевском статуте мы не найдем ни французского монархического принципа, ни суверенитета нации, лишь типично испанский дуализм той эпохи, смешение испанских средневековых традиционных принципов и чуждых нам современных тенденций. Наиболее значимая специфика документа заключалась в том, что Кортесы были не органом, производным от королевского суверенитета, а всего лишь народным и историческим институтом, в котором король только присутствовал. Без сомнения, это было связано с тем, что в Испании так и не смог укорениться принцип божественного права короля, поэтому для испанской формы правления не характерны ни монархический принцип, ни абсолютистский суверенитет. Как таковой Статут был нацелен на то, чтобы реабилитировать Кортесы, которые, согласно их сторонникам, не исчезли, а лишь не использовались, и их было необходимо просто адаптировать к новым временам.

В Испании абсолютизм разрушил политические формы Средневековья, и прежде всего Кортесы, но не снял различие между королем и королевством («гех-регно»), в результате чего монархический принцип, согласно которому королевство есть собственность короля, не исчезает. И даже когда происходит падение абсолютизма, этот принцип продолжает сохранять свое латентное присутствие. Умеренный либерализм поставил перед собой амбициозную задачу – вернуть дееспособность мертвого политического организма, избавившись от патологии абсолютизма и восстановив «скелет» Кортесов.

Наиболее значимое различие между Королевским статутотом и Хартией заключалось в том, что во Франции отсутствовала возможность подлинного представительства, поскольку король идентифицировался с нацией, в то время как в Испании, согласно исторической идее нации, король был квалифицированным представителем, но не был представлен в парламенте. Отсюда и игра в испанских Кортесах велась вокруг подлинного представительства различных социальных интересов.

В Королевском статуте устанавливалось, что в Генеральных кортесах должны быть представлены два сословия – «Вельможи королевства» и «Поверенные королевства», которые должны заседать в Верхней палате, как это принято в современных европейских монархиях; Нижняя палата «избиралась нацией», что также соответствует современным тенденциям. Таким образом, в Статуте утверждалась дуалистическая форма, характерная для той эпохи. С одной стороны, отвергались божественное право короля и

«монархический принцип», какими они были в средневековой испанской традиции, с другой – принимались принципы современного конституционализма, существовавшие в других европейских монархиях.

Целью умеренного либерализма было обеспечить органическую связь между нацией и становящимся государством. Классическая формула уже не работала, поскольку основывалась на средневековых различиях между королем и королевством; реальность же была такова, что королевство в этот момент являлось прежде всего народом, а король – государством. Форма правления поменялась, а умеренные либералы старались сделать правительство более эффективным, с тем чтобы совместить историческую нацию с институтами, адекватными своему времени.

«Бесхребетный» либерализм. В Королевском статуте были заявлены практически все принципы умеренного либерализма, однако как Конституция он оказался совершенно недостаточным для того, чтобы стать основой политической жизни страны, что и спровоцировало новый раскол между либералами умеренными и либералами «экзальтированными», то есть леворадикальными. Последние просто вышли из системы Статута, поскольку не приняли наличия в ней принципов Старого порядка, вследствие чего умеренные либералы остались один на один с задачей построения новой формы правления. Монархия же, беспокоясь больше о своих интересах, нежели об интересах нации, вообще отказалась от конкретной доктринальности, сохранив за собой лишь роль модератора.

В результате умеренный либерализм столкнулся с огромными проблемами. Испанское общество оставалось верным монархии, но больше по привычке, чем по убеждению, не сознавая того, что династия уже давно не беспокоится о его интересах. Партия «модератос» оказалась в неловкой ситуации: она была вынуждена защищать нацию, притом что нация не идентифицировала себя с ней; монархия же была весьма далека от того, чтобы, как это случилось во Франции, принять либеральные принципы. Оказавшись между нацией и монархией, умеренный либерализм выбрал бездействие.

При этом дезамортизация церковных земель¹ лишь воспрепятствовала реализации исторических возможностей умеренного либерализма, рассорив Церковь с либерализмом вообще. И по традиции, и по своему характеру испанская Католическая церковь, как и французская, была регалистской, благодаря чему и наметилась фатальная ассоциация между конкретной формой правления и религией. Умеренный либерализм, для того чтобы добиться в Испании триумфа, остро нуждался в поддержке Католической церкви, критически доминирующей в жизни испанской нации, однако, войдя с Церковью в противостояние, он обрек ее на союз с наиболее радикальными правыми течениями.

Испанское общество – религиозное и монархическое – все больше и больше дистанцировалось от своей правящей элиты. Со времен восшествия на испанский престол Бурбонов социальные элиты начали превращаться

¹ Дезамортизация церковных земель – процесс отчуждения церковных земель, проводимый в Испании в той или иной мере всеми либеральными правительствами на протяжении XIX в. с целью их приватизации и включения в рыночный оборот (примеч. переводчика).

в придворные, теряя свои аристократические добродетели. Поляризация и отдаление элиты от общества были огромными, при этом средний класс, необходимый для успеха умеренного либерализма, практически не существовал. Поскольку аристократия уже давно не занималась управлением, политический контроль был монополизирован королевским двором. И эта ситуация лишь усложнилась в связи с дезамортизацией церковных земель, которая не оправдала возлагаемых на нее надежд и не смогла уменьшить социальные различия, обогатив лишь немногих и лишив Католическую церковь определенных социальных функций, связанных с гармонизацией социальных трений. Почувствовав себя в опасности, Церковь полностью отдалась в руки монархии, которая оплачивала ренту священников; это в долгосрочной перспективе означало для них утрату престижа и превращение в балласт.

Религия и Церковь. Такие либералы, как Мариано Хосе де Ларра¹, становились умеренными благодаря религии, они понимали «необходимость религии для всего общества; необходимость неоспоримую, так как опыт показывает нам, что на протяжении времен не существовало ни одного атеистического народа» [Larra M.J. de. 1836].

Для многих просвещенных либералов религия была основой морального порядка. Во Франции современники либерал Алексис де Токвиль и ультраконсерватор Луи де Бональд рассуждали в одном и том же ключе, не замечая того, что в основе их внимания к религиозному моральному порядку лежит эстетика романтизма. Речь в данном случае идет не об обращении к религии, а о широкой просвещенной рефлексии о добродетельности религии, связанной с обычаями. Как это объясняет швейцарский теолог Х.У. фон Бальтазар, созерцается не «сам Христос, а лишь культурное влияние христианства, “гармония” Церкви (Шатобриан), аутентичность первоначальной традиции, поэтико-мистический характер Средневековья... В полемике и в апологии мы как общее место находим все ту же трансформацию перспективы. Возможно, речь идет о страхе перед откровенным разговором, характерном для эпох куртуазных и буржуазных, поэтому все предпочитают говорить непрямо, посредством мыслительных образов и о традициях, и о божественном; о страхе и предпочтениях, которые быстро превращаются в различного рода увертки, ведут к забвению и перекрывают доступ к главному. При этом речь очень часто идет и о неспособности говорить адекватно, когда вместо того, чтобы следовать принципу *cum studio* или *cum ira*, используют тон патетический или бесстрастный, который вызывает лишь раздражение и отвращение» [Balthasar H.U. von. 2017: 459].

Трансформация перспективы, о которой говорит Бальтазар, стала, конечно же, одной из причин, приведших к изменениям в эпоху романтизма; именно она привела к новому прочтению религии уже в середине XX в. Однако либерализму по-прежнему интересна религия, потому что, по крайней мере в Испании, случилось так, что Католическая церковь приняла по-

¹ Мариано Хосе де Ларра-и-Санчес де Кастро (1809–1837) – выдающийся испанский журналист и эссеист, ревностный леворадикальный либерал (прогрессист); покончил жизнь самоубийством, разочаровавшись в перспективах испанского либерализма (примеч. переводчика).

кровительство, предложенное ей монархией, и согласилась с положениями регализма, превратившись в политического противника тех, кто боролся с абсолютистской монархией. Это стало одним из ключевых моментов, определивших все дальнейшее развитие либерализма в Испании, и прямо препятствовало тому, чтобы умеренный либерализм – религиозный и народный – в испанском обществе укоренился. Именно это и смог увидеть Ларра, который написал, что «либералы и реформаторы давно были бы полными и окончательными триумфаторами, если бы вместо того, чтобы всю дорогу бороться с тиранами от религии, столь необходимой народам, которая является всего лишь инструментом, оседлали бы эту самую религию и повернули бы это оружие своих врагов против них самих» [Larra M.J. de. 1836].

В течение XX в. религия эволюционировала культурно, изменяя свой язык, притом что ее сущность, по крайней мере в католицизме, оставалась прежней. Культурные трансформации, накапливавшиеся в течение всего XVIII в., кульминировали в веке XIX; такие концепты, как «индивид», «общество» и «свобода», повлияли на способы восприятия человека в мире весьма кардинально. Эти процессы, отмечающие полное истощение религии и ее редукцию к морали, а затем и к эстетике, красоте и истине, едва ли были замечены консерваторами XIX в. и не имели никаких политических последствий вплоть до начала XX в. Церковь, конечно же, в своем земном бытии должна была связывать их с социально-политическими изменениями и, как говорится, силой фактов – с дезамортизацией внутри и Великой французской революцией вовне, отсюда и ее явное стремление обрести защиту под покровительством монархии и проклятия «*grosso modo*» в адрес либерализма.

Борьба Католической церкви не была только политической; сосредоточившись слишком крепко на либерализме, утратили свои опоры и умеренные либералы, поэтому они и не использовали исторический шанс построить ту оригинальную форму правления, которая связывала воедино нашу политическую традицию с свершившимися социальными изменениями. Разделение «либерального» и «религиозного» как несовместимых реальностей и переход Церкви под защиту монархии во многом и разрушили проект умеренных либералов.

Подобное отсутствие диалога между религией и либерализмом вызывало сожаление у тех умеренных либералов, которые смогли понять, что единственная возможность осуществить либеральную программу – это наладить между ними взаимопонимание. Боррего, например, утверждал, что «главное – это завершить длительную и непопулярную войну, которую либерализм ведет со священниками; войну, которая уже не имеет смысла ни с одной стороны» [Borrego 1970: 200]. Церковь, полагали некоторые умеренные либералы, должна принять «новые идеи», и прежде всего идею свободы, как ее начали понимать во времена Нового порядка; при этом либералам, согласно их же собственному дискурсу, следовало признать, что свобода совести – это свобода, на которой базируются все остальные свободы, а поэтому и правительству необходимо уважать идеи и верования народа. Диалог между религией и политикой в рамках этих понятий продолжается до сих пор, а II Ватиканский собор и вопрос о религиозной свободе стали его важнейшими вехами.

Собственность и индустрия как фундамент политического режима. Французская аристократия XVIII в. была очень привязана к недвижимой собственности и, в отличие от английской, выступала против того, чтобы смешиваться с новыми промышленниками. В результате во Франции возник социальный раскол между рантье и крупными промышленниками, который предопределил политические категории будущего. Дошло до того, что избирательный ценз во время французской реставрации был связан с рентой на землю, что фактически означало, что промышленники, городские богачи и «вновь пришедшие» не имеют политических свобод. Подобная закрытость спровоцировала всем известные события и совершенно ненужную поляризацию, определившую французский XIX в. и продолжающуюся в этой стране до сих пор.

В Испании данная проблема коснулась умеренных либералов лишь по касательной, так как социальная реальность на большей части национальной территории была совершенно иной: свою роль сыграла специфика исторической эволюции, и прежде всего тот факт, что на полуострове феодализма практически не существовало. Для либералов собственность должна была стать главным элементом политической системы, гарантирующим стабильность и свободу, однако эти гарантии сословного характера, как это было во Франции, не носили; в Испании они, скорее, походили, как утверждали умеренные либералы, на английскую модель. Франсиско Мартинес де ла Роса¹, например, считал «бесполезным делом, если законодатель будет предоставлять определенным классам эксклюзивное превосходство; его главное стремление, наоборот, должно заключаться в том, чтобы успешно комбинировать нынешнее состояние собственности с другими политическими элементами» [Martínez de la Rosa 1960: 31]. Аргумент, выдвигаемый ими, не был связан с защитой придворного общества, а являлся классическим, сформулированным еще Аристотелем в «Политике», когда он спорил с Платоном о важности собственности; он использовался и старшим современником Мартинеса де ла Росы Эдмундом Бёрком: «Характер класса собственников является сущностно умеренным и мирным; эти качества, будучи связанными с заинтересованностью собственника в хорошем государственном администрировании, образуют отличный политический элемент для комбинирования порядка и свободы» [Madariaga S. 1979: 31].

Другой умеренный либерал, Антонио Алькала Гальяно², говорил, что собственность – «это вещь священная. С достаточными основаниями ее можно считать подлинным фундаментом правительств». При этом, испытывая

¹ Франсиско де Паула Мартинес де ла Роса Бердехо Гомес-и-Арройо (1787–1862) – испанский поэт, писатель и дипломат, выдающийся представитель испанского умеренного либерализма, один из наиболее значимых лидеров и идеологов партии «модерадос» за всю ее историю, автор конституционного проекта «Королевский статут» (1834–1836 гг.), определившего политико-институциональный дизайн переходного периода Испании от Старого порядка к Новому как либерально-буржуазному (примеч. переводчика).

² Антонио Алькала Гальяно-и-Фернандес де Вильявисенсио (1789–1865) – выдающийся испанский политический журналист и писатель, дипломат, историк и теоретик права, один из выдающихся представителей партии «модерадос» (умеренных либералов), избиравшийся депутатом Кортесов десять раз подряд (примеч. переводчика).

влияние теории «общественного договора», и прежде всего Джона Локка, но дистанцируясь от классической доктрины, он добавлял, что этот тезис не очень соответствует естественному праву, созданному самим обществом, так как рождается благодаря запрету, налагаемому одними, касаться того, что принадлежит другому. Речь также шла о том, что правительство должно гарантировать права индивида, что означало уже принятие политических идей просветителей и индивидуалистов, которые тогда были в моде, и отказ от теорий, отстаиваемых второй схоластикой в Испании.

Хотя английское влияние на испанских умеренных либералов было огромным, монархический принцип, исповедуемый в Англии, казался им слишком слабым. Так, когда правительство начало заниматься защитой частной собственности, можно было утверждать, что основой любой политической формы правления был средний класс, состоящий из мелких и средних собственников. Умеренный либерал Хоакин Франсиско Пачеко¹ говорил, что «инстинктивное и рефлексивное сознание может быть только у того, кого мы называем средним классом», поскольку он не мог найти принципы доброго управления государством у богатых и бедных: первые были слишком далеки от большинства, вторые не испытывали любви к порядку. «Средний класс нашего века, – говорил Пачеко, – является обладателем большей части собственности, разума и упорядоченной силы, при этом он открыт к бедным и постепенно поднимается до уровня богатых ... только он один понимает, выражает и представляет те общие интересы и идеи, которые должны быть реализованы нашими правительствами» [Pacheco 1845: 231-233].

Хайме Бальмес² как консерватор, склонный к некоторым либеральным идеям и очень влиятельный среди умеренных либералов, настаивал на том аргументе, что собственность придает политическому режиму стабильность, потому что класс собственников вполне независим и мало подвержен циклическим колебаниям; собственность же придает уверенность своему обладателю. Больше приверженный классической доктрине и испытывающий меньшее влияние со стороны теории «общественного договора», Бальмес утверждал: «...определенно, что право собственности существует, что она неотчуждаема, священна, признается во все времена и во всех странах, основывается на естественном законе, санкционированном законом божественным, записана во всех человеческих законах и считается наиболее главным интересом индивида и общества ... поэтому важно никогда ее не трогать и избегать даже минимального ущерба» [Balmes 1950: 430]. Основы нового политического порядка были тогда под вопросом, поэтому

¹ Хоакин Франсиско Пачеко-и-Гутьеррес Кальдерон (1808–1865) – выдающийся испанский юрист и теоретик права, писатель, бессменный глава «пуританос», левой фракции партии «модерадос» (умеренных либералов), склонной к компромиссным договоренностям с леворадикальными либералами (прогрессистами); занимал несколько министерских постов, в 1847 г. был Председателем Правительства (примеч. переводчика).

² Хайме Лусиано Антонио Бальмес-и-Урпия (1810–1848) – известный испанский политический журналист, теолог и социолог, один из главных представителей испанского традиционализма середины XIX в., провозвестник современного – компромиссного – испанского традиционализма (примеч. переводчика).

собственность для либералов являлась, по меньшей мере в теории, краеугольным камнем нового здания. Эта теория должна была помочь решать и реальные коллизии, известные как «социальный вопрос», и теоретические проблемы социализма, ставшего ответом на рост социальной поляризации.

Представители так называемого «экзальтированного» либерализма полагали, что решение социальной проблемы находится в развитии техники, и жаждали увидеть в материальном прогрессе и развитии науки надежду на избавление от социальных и политических болезней. Например, в 1836 г. Хосе де Эспронседа¹ говорил, что «пар и железные дороги являются провозвестником будущего» [El España! 1836]. Он подчеркивал, что созвучие с такими похожими европейскими тенденциями, о которых говорил еще Б. Констан, как эмансипация класса производителей, «является единственным залогом Свободы» [El España! 1836]. Более умеренные либералы типа Мартинеса де ла Роса считали, что развитие индустрии и техники изменило социальный порядок и поэтому политика должна адаптироваться к нему, используя то добро, которое этот порядок предлагает, и ограничивая возможное зло; он утверждал, что «меркантильный дух склоняется к умеренным правительствам» [Martínez de la Rosa 1960: 42], потому что класс производителей желает прежде всего стабильности, увеличение же богатства благоприятствует росту среднего класса и стабилизации политического режима. Этот аргумент наравне с собственностью является одним из важнейших аргументов эпохи, определяющей расширением собственности, развитием индустрии и ограниченным вмешательством правительства в экономику.

* * *

Заключение. В начале XIX в. в обществе, свободном от груза абсолютизма, испанские либералы постарались создать такую форму правления, которая определялась бы развитием современных свобод и могла адекватно представлять историческую нацию, но потерпели неудачу. Оригинальность испанского либерализма заключалась в том, что он родился в момент, когда народ спонтанно выступил против легитимного правительства, и решил реставрировать монархию Бурбонов. Отсюда и наше, испанское, отличие от других стран, где либералы выступали против короля.

На первом этапе своего развития испанский либерализм как либерализм национального суверенитета был крайне незрелым и не обладал еще достаточным политическим чутьем, необходимым для понимания того исторического момента, который переживала страна. Именно поэтому и стало невозможным соединить уже довольно разрушенную на тот момент испанскую традиционную монархию, политические институты которой практически бездействовали, с социальными изменениями, зарождающейся нацией как политической категорией и новыми конституционными и государственными формами. В то время как дебаты развернулись по абстрактным и теоретическим вопросам,

¹ Хосе Игнасио Хавьер Ориол Энкарнасьон де Эспронседа Дельгадо (1808–1842) – выдающийся испанский поэт, ярчайший представитель испанского романтизма первой половины XIX в., ученик Альберто Листы; представитель леворадикальных либералов (прогрессистов) (примеч. переводчика).

монархия не только не пошла за народом, обретшим свободу, но и, наоборот, преследуя собственные интересы, реставрировала абсолютизм.

На втором этапе, после исторического провала «досеанистов», в 1834 г., в Испанию пришли современные англо-французские конституционные идеи, связанные с установлением умеренно-либерального правительства и разделением властей. Умеренные либералы приняли эти идеи на вооружение и постарались адаптировать их к политическим реалиям Испании, однако отсутствие исторической нации, скрепленной действенными политическими институтами, противоречия между короной и народом и аморфность правящей элиты привели к тому, что попытка консолидировать умеренно-либеральную форму правления завершилась реставрацией абсолютизма и последующей комедией со сменой власти, организованной как бы «нейтральной» монархией.

Либерализм в Испании начинался со спонтанного вооруженного восстания народа, который, добившись успехов, смог осознать самого себя и выступать уже как политический субъект. Однако, пока народ превращался в действующего субъекта, власть была обезглавлена, а политические институты перестали функционировать. Монархия, заняв вакантное место, не только не приступила к организации политических свобод нации, но и сумела нейтрализовать этот феномен, вернувшись по времени существенно назад – к абсолютизму.

В силу ряда причин в принципе нежелательная поляризация между нацией и правительством становилась с каждым разом все больше и больше, вследствие чего постепенно сформировался миф о «двух Испаниях», который в 1936 г. привел к гражданской войне; народ больше не хотел и не мог быть управляем безответственным политическим классом.

Перевод с испанского Ю.В. Василенко¹
Translated from Spanish by Yu.V. Vasilenko²

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Alcalá-Galiano y Villavicencio A. 1955. Orígenes del liberalismo español. T. 84. Madrid : Atlas. 305 p.
- Antología de las Cortes de Cádiz, 1909. Vol. 1. Madrid : Establecimiento Tipográfico Hijos de J.A. García. 1562 p.
- Argüelles A de. 1981. Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Madrid : CEC. 132 p.
- Balmes J. 1950. Cataluña. Antología política. T. 1. Madrid : B.A.C. 898 p.
- Balthasar H.U. von. 2017. Gloria. Una estética teológica. Madrid : Encuentro. 616 p.
- Berman H.J. 1983. Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition. Cambridge : Harvard Univ. Press. 672 p.
- Borrego A. 1970. El 48: Autocrítica del liberalismo. Madrid : Iter. 229 p.
- Diario de las discusiones y actas de las Cortes, 1811. Vol. 8. Cádiz : Imprenta Real. 472 p.
- Diccionario de Autoridades, 1734. T. 4. Madrid : Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro. 699 p.

¹ Перевод с испанского выполнен кандидатом философских наук, доцентом НИУ ВШЭ-Пермь Василенко Юрием Владимировичем. E-mail: yuvasil@yandex.ru

² Translated from Spanish by Candidate of Philosophy, assistant professor of HSE-Perm Yu. V. Vasilenko. E-mail: yuvasil@yandex.ru

- Diez del Corral L. 1956. El liberalismo doctrinario. Madrid : IEP. 602 p.
- Diez del Corral L. 1998. La Monarquía Hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt. T. 3. Madrid : OO.CC, CEC. 3801 p.
- El Censor, periódico político y literario, 1822. T. 17. Madrid : Imprenta de D. León Amarita. 484 p.
- El Español, 15 de enero de 1836 [Электронный ресурс] // ФОМ : интернет-сайт. URL: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003502088&search=&lang=es> (дата обращения: 12.03.2015).
- Fernández Sebastián J. 2006. Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política // Revista de estudios políticos. № 134. P. 125-176.
- Flórez Estrada A. 1969. En defensa de las Cortes. Con dos apéndices, uno sobre la libertad de imprenta y otro en defensa de los derechos de reunión y de asociación. Madrid : Ciencia Nueva. 398 p.
- Jouvenel B. 2000. La Soberanía. Granada : Comares. 325 p.
- Larra M.J. de. 1836. Prólogo a la edición castellana de «El dogma de los hombres libres. Palabras de un creyente» de M.F. Lamennais. París : Baudry. 220 p.
- Madariaga S. 1979. España. Madrid : Espasa Calpe. 637 p.
- Martínez de la Rosa F. 1960. Espíritu del siglo. T. 152. Madrid : BAE. 265 p.
- Martínez Marina F. 1957. Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español. Madrid : IEP. 237 p.
- Menéndez Pelayo M. 2007. La historia de España. Madrid : Ciudadela. 350 p.
- Negro Pavón D. 1988. El liberalismo en España. Una ontología. Madrid : Unión Editorial. 355 p.
- Negro Pavón D. 1995. La tradición liberal y el Estado. Madrid : Unión Editorial. 322 p.
- Pacheco J.F. 1845. Lecciones de Derecho Público Constitucional. Madrid : Boix. 248 p.
- Queipo de Llano Ruiz de Saravía J.M., VII conde de Toreno. 1907. Historia del levantamiento, guerra y revolución en España. T. 64, libro 13. Madrid : BAE. 237 p.
- Quintana M.J. 1861. Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de las diversas ramas de Instrucción pública // Quintana M.J. Obras completas. Madrid : M. Rivadeneyra – Impresor – Editor. P. 175-191.
- Quintana M.J. 1972. Memoria sobre el proceso y prisión de don M.J. Quintana en 1814. Madrid : Narcea. 279 p.
- Resolución de la Junta Central sobre la convocatoria por estamentos (21 de enero de 1810) y Convocatoria de los distintos estamentos [Электронный ресурс] // ФОМ : интернет-сайт. URL: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/resolucion-de-la-junta-central-sobre-la-convocatoria-por-estamentos-21-de-enero-de-1810-y-convocatoria-de-los-distintos-estamentos--0/html/fff98d90-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html (дата обращения: 12.03.2015).
- Salas R. de. 1982. Lecciones de Derecho Público Constitucional. Madrid : CEC. 629 p.
- Schmitt C. 2005. Romanticismo político. Buenos Aires : Universidad Nacional de Quilmes. 256 p.



A.Z. Durán. Ispanskiy liberalizm XIX veka: ot idealov natsional'nogo suvereniteta k konstitutsionalizmu [Spanish liberalism of the XIX century: from ideal of national sovereignty to constitutionalism], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 4, pp. 53-80. (in Russ.).

Armando Zerolo Durán, PhD, Associate Professor of San Pablo CEU University of Madrid, Spain. E-mail: azduran@ceu.es

Article received 30.08.2017, accepted 10.10.2017, available online 01.11.2017

SPANISH LIBERALISM OF THE XIX CENTURY: FROM IDEAL OF NATIONAL SOVEREIGNTY TO CONSTITUTIONALISM

Abstract. Liberalism appears in Spain at the beginning of the XIX century as a spontaneous popular movement against Napoleonic absolutism. The nation becomes self-conscious; as a result, political modernity comes to Spain. Peculiarity of Spanish political reality is that unlike other countries liberals fight for the establishment of the monarchy of Fernando VII but not against it, how it been, for example, in France. The relations of liberalism with the monarchy give it a very specific character. Ideologically, this is original liberalism because it results from the typically Spanish political reality – “medieval Spanish monarchy” founded by “Catholic kings”, and both moderate liberals and right-wing radicals value it. This political form is a fundamental myth of Spanish liberalism, and is the forerunner of the modern constitutional monarchy. Spanish liberalism is an unrealized attempt; it never obtained its own political body and proved to be incompatible with the masses, which led to the civil war of 1936–1939s.

Keywords: liberalism, Spanish monarchy, sovereignty, modern constitutionalism, XIXth century Spain.

References

Alcalá-Galiano y Villavicencio A. *Orígenes del liberalismo español. T. 84* [Origins of Spanish Liberalism. Vol. 84], Madrid, Atlas, 1955, 305 p. (in Spanish).

Antología de las Cortes de Cádiz. Vol. 1 [Anthology of the Cortes of Cadiz. Vol. 1], Madrid, Establecimiento Tipográfico Hijos de J.A. García, 1909, 1562 p. (in Spanish).

Argüelles A de. *Discurso preliminar a la Constitución de 1812* [Preliminary Address to the Constitution of 1812], Madrid, CEPC, 1981, 132 p. (in Spanish).

Balmes J. *Cataluña. Antología política. T. 1* [Catalonia. Political Anthology. Vol. 1], Madrid, B.A.C., 1950, 898 p. (in Spanish).

Balthasar H.U. von Gloria. *Una estética teológica* [A theological aesthetics], Madrid, Encuentro, 2007, 616 p. (in Spanish).

Berman H.J. *Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1983, 672 p.

Borrego A. *El 48: Autocrítica del liberalismo* [Year 48: Self-criticism of liberalism], Madrid, Iter, 1970, 229 p. (in Spanish).

Diario de las discusiones y actas de las Cortes. Vol. 8 [Diary of the discussions and minutes of the Cortes. Vol. 8], Cádiz, Imprenta Real, 1811, 472 p. (in Spanish).

Diccionario de Autoridades. T. 4 [Dictionary of Authorities. Vol. 4], Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1734, 699 p. (in Spanish).

Diez del Corral L. *El liberalismo doctrinario* [Doctrinal Liberalism], Madrid, IEP, 1956, 602 p. (in Spanish).

Diez del Corral L. *La Monarquía Hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt. T. 3* [The Hispanic Monarchy in European political thought. From Machiavelli to Humboldt. Vol. 3], Madrid, OO.CC, CEPC, 1998, 3801 p. (in Spanish).

El Censor, periódico político y literario. T. 17 [The Censor, political and literary periodical. Vol. 17], Madrid, Imprenta de D. León Amarita, 1822, 484 p. (in Spanish).

El Español [The Spaniard], 15 de enero de 1836, available at: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003502088&search=&lang=es> (accessed 12 January 2015). (in Spanish).

Fernández Sebastián J. *Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política* [Liberals and liberalism in Spain, 1810–1850. The forging of a concept and the creation of a political identity], *Revista de estudios políticos*, 2006, no 134, pp. 125-176 (in Spanish).

Flórez Estrada A. *En defensa de las Cortes. Con dos apéndices, uno sobre la libertad de imprenta y otro en defensa de los derechos de reunión y de asociación* [In defense of the Cortes. With two appendices, one on freedom of the press and another in defense of the rights of assembly and association], Madrid, Ciencia Nueva, 1969, 398 p. (in Spanish).

Jouvenel B. *La Soberanía* [The Sovereignty], Granada, Comares, 2000, 326 p. (in Spanish).

Larra M.J. de. *Prólogo a la edición castellana de «El dogma de los hombres libres. Palabras de un creyente» de M.F. Lamennais* [Foreword to the Castilian edition of «The dogma of free men. Words of a believer» by M.F. Lamennais], París, Baudry, 1836, 220 p. (in Spanish).

Madariaga S. *España* [Spain], Madrid, Espasa Calpe, 1979, 637 p. (in Spanish).

Martínez de la Rosa F. *Espíritu del siglo. T. 152* [Spirit of the century. Vol. 152], Madrid, BAE, 1960, 265 p. (in Spanish).

Martínez Marina F. *Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español* [Speech on the origin of the Monarchy and on the nature of the Spanish government], Madrid, IEP, 1957, 237 p. (in Spanish).

Menéndez Pelayo M. *La historia de España* [The history of Spain], Madrid, Ciudadela, 2007, 350 p. (in Spanish).

Negro Pavón D. *El liberalismo en España. Una ontología* [Liberalism in Spain. An ontology], Madrid, Unión Editorial, 1988, 355 p. (in Spanish).

Negro Pavón D. *La tradición liberal y el Estado* [The Liberal Tradition and the State], Madrid, Unión Editorial, 1995, 322 p. (in Spanish).

Pacheco J.F. *Lecciones de Derecho Público Constitucional* [Lessons in Constitutional Public Law], Madrid, Boix, 1845, 248 p. (in Spanish).

Queipo de Llano Ruiz de Saravía J.M., VII conde de Toreno. *Historia del levantamiento, guerra y revolución en España. T. 64, libro 13* [History of the uprising, war and revolution in Spain. Vol. 64, b. 13], Madrid, BAE, 1907, 237 p. (in Spanish).

Quintana M.J. *Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de las diversas ramas de Instrucción pública* [Report of the Board created by the Regency to propose the means to proceed to the settlement of the various branches of Public Instruction], M.J. Quintana, *Obras completas*, Madrid, M. Rivadeneyra – Impresor – Editor, 1861, pp. 175-191 (in Spanish).

Quintana M.J. *Memoria sobre el proceso y prisión de don M.J. Quintana en 1814* [Report on the trial and imprisonment of Don M.J. Quintana in 1814], Madrid, Narcea, 1972, 279 p. (in Spanish).

Resolución de la Junta Central sobre la convocatoria por estamentos (21 de enero de 1810) y Convocatoria de los distintos estamentos [Resolution of the Central Junta on the convocation by estates (January 21, 1810) and Call of the different estates], available at: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/resolucion-de-la-junta-central-sobre-la-convocatoria-por-estamentos-21-de-enero-de-1810-y-convocatoria-de-los-distintos-estamentos--0/html/fff98d90-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html (accessed 12 January 2015). (in Spanish).

Salas R. de. *Lecciones de Derecho Público Constitucional* [Lessons in Constitutional Public Law], Madrid, CEC, 1982, 629 p. (in Spanish).

Schmitt C. *Romanticismo político* [Political Romanticism], Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005, 256 p. (in Spanish).



Костокрызов П.И. Юридическая антропология в поисках парадигмы // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4. С. 81–99.

УДК 340.115

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.8199

ЮРИДИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В ПОИСКАХ ПАРАДИГМЫ¹

Павел Игоревич Костокрызов

кандидат исторических наук, научный сотрудник
отдела права Института философии и права УрО РАН,
Россия, г. Екатеринбург.

E-mail: pkostogryzov@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-9345-3900

Материал поступил в редколлегию 12.04.2017 г.

Исследования в области юридической антропологии активно развиваются в России последние два десятилетия. Однако, как указывает автор, место этой дисциплины в системе наук о человеке и обществе до сих пор остается предметом дискуссий. Среди отечественных ученых нет единства в плане определения ее объекта и предмета, структуры науки; не разработан общепринятый категориальный аппарат. Современное гуманитарное знание, в том числе антропологическое, характеризуется междисциплинарностью. Это, с одной стороны, открывает широкие эвристические перспективы, а с другой – порождает определенные трудности гносеологического плана, наиболее очевидная из которых – проблема переводимости знания с языка одной дисциплины на язык другой. Поскольку юридико-антропологические исследования

¹ Статья подготовлена при поддержке исследовательского проекта ИФИП УрО РАН № 15-19-6-6 «Трансформация морально-политических и правовых регуляторов современного общества: взаимодействие национального и глобального пространств».

ведутся как учеными-юристами, так и антропологами, а часто и специалистами из других общественных наук, то для обеспечения синергии их исследовательских усилий возникает необходимость выработки единого, однозначно понимаемого всеми учеными языка юридической антропологии, что требует целенаправленных усилий всего исследовательского сообщества по формированию «терминологических конвенций». Это предполагает публичную дискуссию с участием широкого круга ученых, пришедших из разных дисциплин, но объединенных общей антрополого-правовой проблематикой исследований. Охарактеризовав основные методологические подходы, сосуществующие в современной российской юридической антропологии, автор намечает наиболее перспективные линии, по которым могла бы развернуться такая дискуссия. Как один из возможных вариантов представлено авторское видение объекта, предмета, структуры науки. Рассмотрена одна из наиболее перспективных теорий, претендующих на роль философского фундамента юридико-антропологических исследований – энергийная антропология.

Ключевые слова: юридическая антропология, антропология права, методология науки, парадигма, исследовательский подход, энергийная антропология.

«Антропологический поворот» в общественных науках, наметившийся во второй половине XX в., не обошел стороной и юриспруденцию. Юридическая антропология благодаря трудам таких корифеев, как Н. Рулан, заняла почетное место среди правовых дисциплин. Отечественное правоведение, оказавшееся в ситуации методологического кризиса в результате разрушения монолита марксистско-ленинской парадигмы, считавшейся ранее «единственно верной», обратилось к антропологии в конце 1990-х гг. И хотя за прошедшие два десятилетия написаны монографии и учебники, защищены диссертации (в том числе докторская диссертация О.А. Пучкова [Пучков 2001]) по юридической антропологии, ее эпистемологический статус и место в системе наук о человеке и обществе остаются предметом дискуссий.

В России антропология права развивается по двум параллельным линиям. Одна из них существует относительно давно как субдисциплина социальной (культурной) антропологии. Ее «основы были заложены еще в XIX веке, однако в советское время число исследований в этой области драматически сократилось, и эта субдисциплина ... стала восстанавливаться лишь с 1990-х гг.» [Соколовский 2015: 147]. Исследовательские усилия научного сообщества, сформировавшегося вокруг этого направления, сосредотачиваются в основном на изучении обычного права и юридического быта коренных народов. Большинство его участников придерживается традиционной для антропологов и этнографов парадигмы, в рамках которой вопрос о статусе юридической антропологии как одного из «разделов», или субдисциплин, культурной антропологии считается давно решенным и не обсуждается.

Другая линия – гораздо более молодая – начала формироваться во второй половине 1990-х гг. внутри научного сообщества юристов, и процесс ее становления до сих пор не завершен. Исследователи, представляющие это направление, чаще всего рассматривают юридическую антропологию как одну из юридических наук или «отрасль в рамках общей юриспруденции» [Ковлер 2002: 20].

В рамках данного подхода, в свою очередь, существуют две точки зрения. Сторонники первой, в частности А.И. Ковлер и В.С. Нерсесянц, видят в антропологии права самостоятельную научную и учебную дисциплину наряду с другими фундаментальными юридическими науками. «В системе юридических наук и юридического образования юридическая антропология занимает свое особое и самостоятельное место в ряду таких общенаучных юридических дисциплин, как теория права и государства, философия права, социология права, психология права, история права, государства и правовых учений, сравнительное правоведение», – пишет в этой связи В.С. Нерсесянц [Нерсесянц 1999: 2].

Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, не признают за антропологией права подобного статуса, настаивая, что она представляет собой особый мировоззренческий и методологический подход в сфере общей теории права и юридической науки в целом. На такой позиции стоят, например, авторы недавно вышедшей монографии «Социокультурная антропология права», которая является, пожалуй, самым фундаментальным на сегодняшний день трудом по данной проблематике в отечественной науке. Для них «социокультурная антропология права – это не самостоятельная институционализируемая научная дисциплина, а специфический подход к анализу и репрезентации правовой реальности, более глубокий, нежели исповедуемый догматической юриспруденцией. ... Специальная институционализация этой дисциплины и не требуется» [Исаев, Честнов 2015: 162].

В целом можно констатировать, что в настоящее время сосуществуют два направления в юридической антропологии. Их можно условно назвать «антропологическим» и «юридическим». Причем их парадигмальные основания, достаточно устоявшиеся в случае «антропологической юридической антропологии» и находящиеся в начальной стадии становления в случае ее «юридического» аналога, настолько различны, что представляется не очень большим преувеличением говорить о возможности появления двух разных наук с одинаковым названием. Формируются независимые научные сообщества, не только практически не пересекающиеся по составу, но и зачастую игнорирующие исследовательские достижения друг друга. Такую ситуацию трудно признать желательной. Назрела необходимость попытаться «закрыть брешь», образовавшуюся между двумя антропологиями права. Нельзя сказать, что такая работа не ведется. На рубеже 1990–2000-х гг. проводились Летние школы по юридической антропологии, в рамках которых происходил диалог антропологов и юристов; в Институте этнологии и антропологии РАН действует семинар по юридической антропологии [Новикова 2016: 125]. Однако эти усилия пока не привели к формированию единой парадигмы.

В поисках сближения позиций ориентиром может послужить следующее замечание И.Л. Честнова: «Исповедуемый подход, впрочем, не отрицает существования институционализированной социокультурной (или социальной) антропологии права» [Исаев, Честнов 2015: 162]. Оно предполагает существование юридической антропологии в двух «ипостасях» – как гносеологической ориентации в юриспруденции и как самостоятельной,

институционализированной, по терминологии, принятой в цитируемой работе, научной дисциплины. На наш взгляд, именно эта мысль указывает путь к синтезу кажущихся несовместимыми точек зрения по вопросу о научном статусе антропологии права.

Для того чтобы определить место юридической антропологии как самостоятельной научной дисциплины в системе социально-гуманитарного знания, следует прежде всего выяснить, что является объектом ее изучения. Н. Рулан понимает эту науку как «дисциплину, которая путем анализа письменного или устного слова, практики и системы представительства изучает процессы юридизации, свойственные каждому обществу, и стремится выявить их внутреннюю логику» [Rouland 1990: 7].

Согласно этой дефиниции объектом изучения антропологии права являются «процессы юридизации» с присущей им «внутренней логикой», рассматриваемые с учетом географической, культурной, исторической и иной вариативности («свойственные каждому обществу»). Под «процессами юридизации» в свою очередь понимается то, как «каждое общество ... выбирает, какие правила поведения, уже действующие в других системах социального контроля (например, морали или религии) квалифицировать (или не квалифицировать) как правовые» [Rouland 1990: 8]. Это определение трудно признать исчерпывающим, поскольку при всей важности указанных процессов было бы неправильно ограничивать область изучения юридической антропологии только ими.

Среди отечественных ученых нет единства в определении объекта исследования антропологии права. В.В. Бочаров, например, считает таковым «обычно-правовую систему (инвариант обычного права), которая формируется в процессе общественной самоорганизации и определяет социальный порядок в традиционном обществе» [Бочаров 2013: 16] (курсив мой. – П.К.). По нашему мнению, такой подход неоправданно сужает предметную область науки, сводя ее фактически к юридической этнографии. Во-первых, юридическая антропология изучает отнюдь не только традиционное общество, но и современное. Это, кстати, наглядно демонстрирует и сама работа В.В. Бочарова, из которой взято данное определение: в ней автор исследует действие «неписаного закона» в современном обществе не менее тщательно, чем в традиционном, расширяя таким образом им самим обозначенные границы заявленного объекта изучения. Во-вторых, трудно согласиться с автором определения в том, что антропологию права должна интересовать исключительно обычно-правовая система (которая, по его мысли, представляет собой «инвариант обычного права»). Многими исследователями, начиная с Н. Рулана [Рулан 1999], убедительно показано, что юридическая антропология должна рассматривать человека в контексте как обычного права, так и писаного, без чего невозможно создание целостной модели *homo juridicus*.

Авторы монографии «Социокультурная антропология права» считают, что «объектом науки социокультурной антропологии права выступает *право* как социальное явление во всей его многогранности, или *правовая реальность*, т.е. *люди*, социализированные в данной культуре, конструирующие

господствующие сегодня социальные представления о праве, включая знаковое их воплощение в законодательстве и других формах нормативности права, и их реализацию в юридически значимых практиках» [Исаев, Честнов 2015: 121] (курсив мой. – П.К.). В этом определении бросается в глаза неравнозначность понятий, связанных уточняющими союзами «или» и «то есть». Разве право, пусть даже взятое «во всей его многогранности», идентично «правовой реальности», а последняя – «людям, конструирующим ... социальные представления о праве»? Таким образом, объект юридической антропологии в рамках одной дефиниции определяется трояким (!) образом, что не может не вызвать у читателя некоторого недоумения.

По словам О.А. Пучкова, «юридическая антропология изучает *право как проблему человека*» [Пучков 1999: 90] (курсив мой. – П.К.). А.И. Ковлер, отталкиваясь от определения юридической антропологии, данного Н. Руланом, сформулировал собственное в двух вариантах – развернутом и кратком. Приведем здесь последний: «Юридическая антропология изучает *правовое бытие человека* на всех стадиях развития этого бытия, от архаических до современных» [Ковлер 2002: 23] (курсив мой. – П.К.). С ним солидаризируется Н.И. Новикова: «...юридическая антропология изучает *правовое бытие людей*» [Новикова 2016: 128]. Сходным образом определяет объект антропологии права академик В.С. Нерсесянц. «Юридическая антропология, – пишет он, – наука о *человеке* как социальном существе в *его правовых проявлениях, измерениях, характеристиках*» [Нерсесянц 1999: 1] (курсив мой. – П.К.).

Предельно упрощая, можно свести все разнообразие точек зрения, высказываемых разными учеными и научными школами в дискуссии об объекте антропологии права, к двум фундаментальным позициям: одни считают ее наукой в первую очередь о *праве*, другие – о *человеке*. Первая позиция среди отечественных исследователей представлена В.В. Бочаровым и авторским коллективом монографии «Социокультурная антропология права», вторая – В.С. Нерсесянцем, А.И. Ковлером и всеми учеными, принадлежащими к «антропологической» линии в юридической антропологии. Точку зрения О.А. Пучкова можно рассматривать как компромиссную, но, на наш взгляд, она все же ближе к «антропологическому» варианту.

При выборе между обозначенными позициями следует исходить из двух принципиально важных соображений. Прежде всего, из самого названия науки – «юридическая антропология» или «антропология права». Антропология – по определению наука о человеке, и дисциплина, имеющая иной объект, просто не может называться этим термином, какой бы эпитет ни стоял перед этим словом. Следовательно, справедливо признать, что объектом изучения юридической антропологии является именно человек, а не что-либо иное. Далее, необходимо учитывать, что юридическая антропология как субдисциплина культурной антропологии существует уже достаточно давно и речь может идти о расширении ее предметного поля, методологическом обогащении за счет более тесного взаимодействия с юридической наукой, возможно, о ее ре-институционализации за счет более четкого размежевания с другими субдисциплинами антропологии, о

применении новых подходов и конструировании новой парадигмы, но не о создании другой науки с тем же названием, но иным объектом изучения.

Поэтому необходимо разделять собственно юридическую антропологию как самостоятельную научную дисциплину («институционализированную антропологию права» [Исаев, Честнов 2015: 162]) и антропологический (антропоцентрический) подход в юриспруденции. Для последнего В.И. Павлов употребляет термин «антропологическая концепция права» [Павлов 2014: 167].

Теперь нам предстоит выяснить, в чем специфика юридической антропологии по сравнению с другими науками о человеке. Антропология обычно понимается как интегральное знание о человеке. Но, с другой стороны, человек – столь сложный объект, что невозможно его всеобъемлющее изучение в рамках лишь одной науки, которая при этом сохраняла бы единство предмета и методологии. Поэтому антропологию следует также рассматривать как своего рода «зонтичную» науку, которая сводит воедино множество относительно самостоятельных научных дисциплин: физическую, культурную, политическую антропологию и т.д. В их число входит и юридическая антропология. Объединяет их общий объект изучения – человек, но каждая из отраслей антропологии имеет свой особый предмет исследования и собственную методологию.

Юридическая антропология – наука в первую очередь о человеке и лишь во вторую – о праве. Это позволяет провести четкую грань между ней и юридическими науками в собственном смысле. В фокусе юриспруденции (даже рассматриваемой с последовательно антропологических позиций) находится право, тогда как объектом изучения антропологии, в том числе юридической, всегда остается человек. Когда юрист смотрит на человека, он видит присущие ему правовые характеристики; когда антрополог смотрит на право, он видит создающего его человека. Можно сказать, что антропология права представляет собой видение человека сквозь призму права. Ее задачами являются исследование правового бытия человека и поиск «человеческих корней» права, то есть тех граней человеческого бытия и права, которые выпадают из поля зрения других отраслей антропологии, с одной стороны, и юриспруденции – с другой.

Таким образом, юридическая антропология представляет собой науку о человеке, стоящую в одном ряду с другими антропологическими дисциплинами. Объект ее изучения отличен от объекта юриспруденции. Антропология права «подпитывает» юридическую науку идеями, вооружает методологическим инструментарием, снабжает научными фактами, практическими рекомендациями, но сама не является в строгом смысле ее частью.

Итак, объектом изучения антропологии вообще и юридической антропологии в частности выступает *человек*. Построение концепции человека во всей его многогранности – задача философской антропологии. Каждая из специальных антропологических дисциплин подвергает общий для них объект необходимой редукции. В случае антропологии права эта редукция выглядит так: *человек* → *человек-в-праве* → *человек юридический* → *субъект права*.

Юридическая антропология не может претендовать на то, чтобы схватить объект изучения «человек» во всей его онтологической полноте, как не претендует на это ни одна из «отраслевых» антропологий, но она может высветить в нем грани, недоступные оптике других антропологических дисциплин. Поэтому она фокусирует внимание на специфической стороне этого объекта – *человеке-в-праве*. Антропология права рассматривает человека погруженным в правовое бытие, стараясь не упустить ни одного из аспектов человеческого существования, которые так или иначе проявляются в этом бытии, взаимодействуют с ним.

Следующий шаг редукции – *человек юридический (homo juridicus)*, «производитель» и «потребитель» права, взаимодействующий в юридическом поле с другими людьми и вне/надличностными сущностями (государством, юридическими лицами и т.д.). Здесь необходимо учитывать не только прямое воздействие создателя на свое творение, но и обратное: человек – существо культурно обусловленное, а значит, его личность формируется, в числе прочего, и правом как одной из составляющих культуры. Поэтому в отличие от человека-в-праве, представляющего собой универсальный феномен, человек юридический существует во множестве цивилизационных, региональных, национальных проявлений. Каждой правовой культуре соответствует свой «подвид» *homo juridicus*.

Последняя точка редукции – *субъект права* – уже собственно юридическое понятие, он является общим объектом изучения для антропологии права и юридической науки; это «человек нормативный», такой, каким он зафиксирован в нормах позитивного права.

Предметом юридической антропологии является *правовое бытие человека* во всей его многогранности, то, что дореволюционные русские юристы называли «юридическим бытом». Более строго этот предмет представляется возможным определить в границах поведения личности и общностей разного порядка в юридическом поле, обусловленного контекстом конкретной культуры, с присущими ему как вариативностью, так и инвариантами. Последнее замечание – это, в определенной степени, рефлексия слов В.В. Бочарова [Бочаров 2013: 16] об «инварианте обычного права»; на наш взгляд, инвариантность в человеческом поведении, в том числе и правовом, безусловно существует. Антропология права, как и любая другая антропологическая дисциплина, относит к числу своих задач выявление таких инвариантов. Но при этом не меньший интерес для нее представляет и вариативность в рамках исследуемого предмета.

Задачи юридической антропологии в самом обобщенном виде состоят в том, чтобы познать правовое поведение людей разных культур и на базе этого знания выявить те универсалии, которые определяют присутствующие виду *homo sapiens* рамки правового поведения. Вообще, вопрос о том, должна ли антропология права заниматься поиском универсалий или различий, сопровождает эту науку с момента возникновения. Если до середины XX в. антропологи склонялись к «универсализму», то во второй его половине возобладали позиция культурного релятивизма: ученые концентрировали внимание на отличиях – человека традиционного

общества от цивилизованного, африканца от европейца и т.д. В крайних своих формах этот релятивизм доходит до утверждения полной несоизмеримости культурного и социального опыта людей, принадлежащих к разным цивилизациям. Думается, настало время более взвешенного подхода. На наш взгляд, принципиально важны как универсальные, так и уникальные для каждой культуры характеристики правового бытия; но общее познается лишь в результате тщательного исследования частного. Поэтому конкретные исследования правовых культур (которыми занимается юридическая этнография) должны предшествовать построению обобщающих моделей.

В задачи нашего исследования не входит исчерпывающая характеристика предметного поля антропологии права, однако хотелось бы отметить особую значимость для нее темы *правосознания*. Если в теории государства и права она является периферийной, то для юридической антропологии должна, на наш взгляд, стать одной из центральных. Несмотря на наличие монографий и диссертаций, в том числе докторских, проблематику правосознания нельзя считать в достаточной мере изученной. Дело в том, что будучи по своей природе не столько юридической, сколько человеческой, она и не может быть исчерпывающе познана методами «чистой» теории права, которая неизбежно абстрагируется от социокультурного «фона» юридических явлений. А значит, именно антропология права должна внести существенный вклад в исследование этого феномена.

Каждая отрасль знания должна быть определенным образом организована для эффективного решения стоящих перед ней познавательных задач. О.А. Пучкову *структура* юридической антропологии видится следующей: 1) теория (общая часть) юридической антропологии; 2) юридическая антропология современного общества; 3) юридическая антропология традиционного общества (юридическая этнография) [Пучков 1999: 5]. Возникает вопрос: настолько ли непереходима грань между современными и традиционными обществами и настолько ли различны методы их изучения, что для них необходимо выделять самостоятельные разделы научной дисциплины? Ведь этнографическими методами изучают любые человеческие общества, вне зависимости от того, на какой исторической стадии развития они находятся.

Если уж следовать логике построения юридических дисциплин, то более обоснованным представляется разграничение, прежде всего, *общей (теоретической) и особенной частей*. Тогда очевидно, что задача второй – наблюдение правовой реальности, сбор и систематизация информации, а первой – теоретическое обобщение и концептуализация полученного знания. В особенной части, в свою очередь, можно предусмотреть подразделы для прекративших существование (историческая антропология права) и существующих (юридическая этнография) обществ, поскольку методы их изучения, действительно, различны; в рамках последней – юридическую антропологию современных и традиционных обществ (или, как предлагают некоторые авторы, антропологию позитивного и обычного права), антропологию правовых субкультур и т.д.

К числу важнейших характеристик любой научной дисциплины, определяющих ее эпистемологический статус, относятся используемые ею методы познания. Обстоятельный разговор о методах антропологии права потребует как минимум отдельной статьи, поэтому, не останавливаясь на этом вопросе подробно, отметим лишь такое ее свойство, общее для всех наук о человеке и имеющее непосредственное отношение к используемому методологическому инструментарию, как принципиально междисциплинарный характер.

Исследовательское поле каждой из антропологических дисциплин пересекается с исследовательским полем по крайней мере еще одной науки – биологии, культурологии, политологии, юриспруденции, что отражено и в их названиях – культурная антропология, политическая антропология и т.д. Такая «двойственность» находит выражение и в том, как эти дисциплины конструируют свой предмет, и в том, какие методы они используют.

Междисциплинарный синтез в высшей степени характерен для современного этапа развития науки вообще и гуманитарной науки в особенности. Этот этап предполагает «реорганизацию всего научного знания и его производства не столько по дисциплинарному, сколько по проблемному, или проблемно-ориентированному принципу» [Соколовский 2000: 52]. Междисциплинарность – имманентное свойство наук о человеке, и даже разделение антропологии на несколько относительно самостоятельных отраслей не лишает каждую из них этой характеристики. Юридическая антропология не может обойтись без использования познавательного инструментария целого ряда наук – не только юриспруденции и антропологии, но также этнографии, истории, политологии, лингвистики, психологии, социологии.

Междисциплинарность антропологических исследований, с одной стороны, несомненно открывает широкие эвристические перспективы, а с другой – порождает определенные трудности гносеологического плана, наиболее очевидная из которых – проблема переводимости знания с языка одной дисциплины на язык другой.

Поскольку юридико-антропологические исследования ведутся как учеными-юристами, так и антропологами, а часто и специалистами из других общественных наук, то для обеспечения синергии их исследовательских усилий возникает необходимость выработки единого языка, однозначно понимаемого всеми участниками данного междисциплинарного сообщества. Это возможно в результате целенаправленной деятельности по формированию «терминологических конвенций», предполагающей публичную дискуссию с участием широкого круга ученых, пришедших из разных дисциплин, но объединенных общей антрополого-правовой проблематикой исследований. Ученые начали рассматривать вопросы разработки единого терминологического аппарата еще в 1990-е гг. По сути, каждая публикация по теме вносит в решение этой проблемы тот или иной вклад. Однако до настоящего времени разговор ведется скорее в режиме монолога, нежели диалога: каждый автор предлагает свои определения базовых понятий, лишь отчасти коррелирующие с терминологическими разработками коллег.

Хотелось бы надеяться, что эта дискуссия все-таки выйдет на новый уровень, предполагающий активный обмен идеями и выработку консенсуса по базовым «терминологическим константам», составляющим «категориальный каркас» [Рязанова 2013: 38] научной дисциплины.

Не претендуя на то, чтобы выводить основные контуры этого «каркаса», возьмем на себя смелость указать некоторые направления возможного хода дискуссии, а также обозначить хотя бы несколько терминов, которые являются, на наш взгляд, узловыми для предполагаемого конвенционального языка юридической антропологии.

Очевидно, что краеугольными понятиями данной научной дисциплины являются «человек» и «право». Впрочем, эти категории настолько сложны и многогранны, что их определение вызывает не прекращающиеся уже который век споры даже в рамках философской антропологии и юриспруденции соответственно. Поэтому их уместно рассматривать как *метакатегории* юридической антропологии, не определяемые гносеологическими средствами самой этой науки. Их разработка остается прерогативой философии – философской антропологии и философии права соответственно. В юридической же антропологии могут сосуществовать научные школы, границы между которыми проходят прежде всего по линии понимания данных базовых категорий. При этом необходимо ясно указывать, из каких именно представлений о человеке и праве исходит автор конкретного исследования.

Почему ясность в этом вопросе так важна на наш взгляд? Дело в том, что философские идеи, положенные в фундамент научного исследования, в значительной степени предопределяют направление, в котором оно будет развиваться, реперные точки, к которым будет привязываться топология продуцируемого научного знания. И поэтому важно, прежде всего для самого исследователя, чтобы эти идеи были оформлены в ясную концепцию. «Предельными» категориями такой концепции в случае юридической антропологии являются, как уже было сказано, понятия «человек» и «право». От того, какие именно представления о человеке и праве будут взяты автором за отправную точку, зависят весь строй его рассуждений и, в конечном счете, содержание выводов, к которым он придет в результате исследования.

Первая функция, которую призваны выполнять эти категории в антрополого-юридическом исследовании, – так сказать, калибровочная – заключается в том, что они позволяют выделять из мира феноменов объекты, составляющие их объем, то есть однозначно отличать людей от не-людей и правовые явления от не-правовых.

И если при всех различиях в интерпретации содержания понятия «человек» относительно его объема существует консенсус – все антропологи согласны¹ в том, кого именно считать человеком (по крайней мере, когда речь идет о современных людях, а не об их ископаемых предполагаемых предках), то с термином «право» дело обстоит иначе.

¹Мы сознательно оставляем за скобками споры о том, является ли человеком человеческий эмбрион, клон, а также маргинальные концепции, отрицающие человеческий статус некоторых представителей вида *homo sapiens* (например, больных синдромом Дауна).

Существующие в современной юридической науке определения права, будучи разнообразными по содержанию, различаются и по объему, так что в зависимости от того, какое из них кладется в основу того или иного юридико-антропологического дискурса, различными будут и множества феноменов, квалифицируемых как юридические. Это необходимо иметь в виду всякий раз, когда заходит речь о выяснении того, что именно должно составлять предметное поле юридической антропологии. У различных авторов, научных школ и направлений его границы будут различаться в зависимости от принятого ими определения права.

Вторая функция, выполняемая метакатегориями антропологии права – собственно гносеологическая. Она, возможно, даже важнее первой, и в этом случае основную роль играет уже не объем, а именно содержание концептов «человек» и «право», так как именно оно задает вектор научного поиска, направляя его в определенное русло.

Как это ни парадоксально, большинство работ по юридической антропологии, даже самых фундаментальных, считающихся классикой, не раскрывают в явном виде тех концепций *человека*, которые лежат в их основе. Видимо, авторы довольствуются интуитивным пониманием человека (своим собственным и читателя), которое неплохо справляется с первой, «калибровочной», функцией, но не может быть достаточным для выстраивания целостной гносеологической конструкции, являющейся организующим стержнем каждой научной теории. Сказанное не означает, что у антропологов права нет четкого представления о человеке; оно, конечно, присутствует, но чаще всего «незримо», и читателю приходится реконструировать его по косвенным данным. Труды по юридической антропологии воспринимались бы намного лучше, если бы их авторы раскрывали свои философские позиции во введении или первой главе.

Счастливым исключением в этом отношении стала коллективная монография «Социокультурная антропология права», содержащая написанный В.И. Павловым раздел [Исаев, Честнов 2015: 109-116, 301-337], в котором кратко изложена концепция человека, составляющая основу авторского дискурса. В более развернутом виде она представлена в отдельных работах этого ученого [Павлов 2012а; 2012b; 2014]. В отличие от большинства публикаций по юридической антропологии, как отечественных, так и зарубежных, авторы которых отталкиваются от бихевиористских, фрейдистских или марксистских представлений о человеке, в качестве философского фундамента в монографии выбрана оригинальная антропологическая теория.

Эта теория – авторы называют ее *энергийной* или *синергийной* – разрабатывается известным современным русским философом-антропологом С.С. Хоружим и его школой. Она берет начало в антропологическом учении и аскетической практике осевого направления в средневековом православном богословии – исихазма (труды Иоанна Дамаскина, Григория Паламы и др.). Исихастская же антропология имеет свои истоки в философии Аристотеля, получая эстафету преемственности от нее через труды Боэция и Оригена.

Для энергийной антропологии характерны отказ от попыток схватить сущность человека как нечто статичное, раз и навсегда установленное (это вообще свойственно современному антропологическому дискурсу, начиная с экзистенциалистов, показавших, что сущность человека состоит в его существовании – экзистенция предшествует эссенции) и переход к построению динамической модели человека – не ставшего, но становящегося и при этом активного участника этого становления, творящего себя самого (аутопозис). Такого рода активность фундирована понятием энергии; собственно, человек в оптике исихастов и есть не что иное, как «пучок», «сгусток» разнонаправленных энергий.

В.И. Павлов вслед за С.С. Хоружим определяет суть энергийного понимания человека так: «Энергия есть актуализация потенций сущего, причем, как отмечает С. С. Хоружий, “именно — сам процесс, движение, деятельность актуализации, а не ее результат (актуализованность; осуществленность)”. Согласно Иоанну Дамаскину, “все способности [человека] ... как познавательные, так и жизненные, так и естественные, также и искусственные, называются *ἐνέργεια*”, “энергия есть естественная и первая вечно движущаяся сила разумной души”. Что характерно для несущностного, неэссенциального описания человека, так это то, что аскетика в результате опытного наблюдения за человеком дополнила, развила и уточнила концепт энергии – человек энергийный... стал рассматриваться как постоянно меняющаяся множественность, стихия дробности и изменчивости» [Павлов 2012b: 16].

Таким образом, энергийная антропология представляет собой «динамический подход к человеку в его природе, динамическую антропологическую установку» [Хоружий 2002]. Отказываясь от свойственного вульгарному сциентизму поиска однозначных линейных закономерностей типа «причина – следствие», она «ставит в центр нравственно-волевые начала» [Хоружий 2002]. Такая гносеологическая установка вполне комплиментарна юридической антропологии, которая также уделяет пристальное внимание нравственно-волевому началу в человеке, «ответственному» за порождение правовых феноменов.

И тем не менее оптимальность выбора именно энергийной антропологии в качестве философского «фундамента» юридико-антропологических исследований представляется далеко не очевидной. Теория С.С. Хоружего и его школы может показаться чересчур оригинальной – вплоть до экзотичности; возможен также упрек в некоторой архаичности, ведь идеи энергийной антропологии опираются на корпус византийских философских текстов более чем шестисотлетней давности.

Однако, на наш взгляд, эти сомнения легко рассеиваются. Архаичность антропологии С.С. Хоружего – кажущаяся. Вся европейская философская традиция ведет свою генеалогию от Аристотеля, и византийский исихазм представлял собой часть общеевропейского интеллектуального «мэйнстрима» в самом широком смысле. Тот факт, что традиция исихастской философии в определенный момент прервалась и долго оставалась в забвении, не может служить аргументом против ее актуализации на новом этапе.

Есть у энергийной антропологии «точки соприкосновения» и с рядом постклассических концепций, входящих в круг наиболее актуальных идей современной западной философии и общественных наук в целом. В частности, сам С.С. Хоружий указывает на определенные коннотации, которые она имеет в философии М. Хайдеггера [Хоружий 2012: 44]. О параллелях с экзистенциалистским взглядом на бытие человека уже было сказано выше. Очевидны и общие моменты с восточной философией – как индийской, так и дальневосточной, где концепты, близкие к ключевому для этой теории понятию энергии, также играют ведущую роль, в том числе и в постижении феномена человека.

С точки зрения юридической антропологии особый интерес представляет параллель, обнаруживаемая между идеями энергийной антропологии и самыми актуальными для мировой науки теориями, ориентированными на практические исследования социального бытия человека, в частности его юридического быта. Речь идет об учении французского социолога Пьера Бурдьё, которое не только является одним из ведущих направлений в современной социологии, но и оказывает влияние на антропологические исследования. Ключевые для него концепты *социального агента*, *практик* и *габитуса* как нельзя лучше укладываются в энергийную парадигму.

Вводя вместо привычных терминов «субъект» или «индивид» понятие «агент», П. Бурдьё подчеркивает «в первую очередь такие качества (человека. – П.К.), как активность и способность действовать, быть носителем практик определенного сорта» [Шматко 1993: 14-15]. Категория «энергия» идеально подходит для описания этой способности и ее реализации в практиках.

«Габитус – система прочных приобретенных предрасположенностей (*dispositions*), структурированных структур, предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур, т.е. в качестве принципов, которые порождают и организуют практики и представления, которые объективно приспособлены для достижения определенных результатов» [Батурчик 2009]. Можно сказать, что габитус специфическим образом организует, упорядочивает, структурирует разнонаправленные энергии человека-агента, задает им определенный вектор по направлению к выбранной цели, делая тем самым возможными осмысленные социальные практики. Поскольку габитус формируется всем культурным окружением человека в ходе развития его личности, становится возможным говорить о присущих разным культурам (в том числе и разным правовым культурам) разных габитусах, которые и конституируют соответствующие типы человека юридического.

Еще один бурдьёзианский концепт – *социальный капитал* [Бурдьё 1993: 56-58] – также может быть истолкован в терминах энергийной антропологии как накопленная энергия определенного вида, отчужденная от человека, воплощенная в занимаемой им социальной позиции, но могущая быть в любой момент «востребованной» им обратно и реализованной в социальном действии.

Таким образом, энергийная теория при всей своей несомненной оригинальности и мнимой архаичности говорит на одном языке с современной

западной наукой, что позволяет «перекинуть мосты» между ними. В свою очередь, обогащение энергийной антропологии наработками зарубежных ученых делает возможным переход от «высокой теории» к непосредственному изучению социальной эмпирии. На ее основе становится возможно выстроить релевантную методологию практического исследования человеческого бытия, что делает ее уже не только «чистой» философией, но и самостоятельной эпистемологической парадигмой, пригодной для конструирования юридико-антропологической теории «среднего уровня».

Все сказанное выше не следует понимать в том смысле, что энергийную антропологию предлагается считать отныне единственно верной философской и методологической позицией, а все прочие отринуть и забыть. Разумеется, нет. Речь идет лишь о том, чтобы каждый исследователь или исследовательский коллектив четко эксплицировал (хотя бы для себя, а лучше – и для читателя) тот философский фундамент, на котором строятся его юридико-антропологические конструкции. Невозможно доказательно рассуждать о человеке-в-праве без опоры на определенные представления о человеке вообще. Авторы монографии «Социокультурная антропология права» дали нам пример исследования, фундированного ясной философской концепцией человека. При этом, разумеется, возможны (и необходимы) и иные подходы в антропологии права, базирующиеся на иных философских теориях.

Принятие определенной философской позиции определяет весь строй дальнейших рассуждений исследователя. «Если прежде заданием философской антропологии предполагалось “исследование сущностного строения человека” (М. Шелер), то теперь, в отличие от этого, перед антропологией должна ставиться задача исследования энергийного строения человека» [Хоружий 2012: 47]. Переход от философской антропологии к «теории среднего уровня», каковой в данном случае является антропология права, требует выстраивания научного дискурса в соответствии с выбранной философской концепцией. Эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд. С. Хоружий указывает в этой связи, что «выдвижение энергии на первый план ... не может опираться на какой-либо готовый концептуальный аппарат и требует специальной перестройки философской речи» [Хоружий 2012: 44]. Можно с полным основанием предполагать, что аналогичным образом должен быть перестроен и понятийный аппарат юридической антропологии, причем касается это не только и не столько терминологии, сколько «угла зрения» на изучаемую материю. И если в философии такая перестройка уже проведена самим С. Хоружим и его школой, то в антропологии права эта работа только начинается. Как показано выше, она может быть выполнена (по крайней мере частично) с использованием понятий, разработанных мировой наукой, при условии их адекватного перевода.

Что касается второй метакатегории – *права*, то ей «повезло» больше. Практически каждый труд по юридической антропологии содержит определение права, из которого исходит автор. Как уже было отмечено, определений этих существует множество. Поэтому, не претендуя на выбор «лучшего», попытаемся лишь обозначить критерий, позволяющий отсеять те

из них, которые заведомо неприменимы в юридико-антропологическом дискурсе. К таковым можно отнести все позитивистские («легистские», в терминах В.С. Нерсесянца) концепции, в той или иной форме отождествляющие право и государство – трактующие право как «волю господствующих классов», «норму, установленную государством», «приказ суверена» и т.п., поскольку они выводят за рамки множества юридических явлений широкий спектр феноменов, несомненно входящих в предметное поле юридической антропологии.

После того как намечены линии концептуализации основополагающих метакатегорий юридической антропологии, становится возможным построение собственного тезауруса этой науки, то есть конструирование понятий, составляющих ее операциональный язык и определяемых исходя из уже сформулированных представлений о человеке и праве. Как уже было сказано выше, это возможно путем формирования «терминологических конвенций» по итогам широкой научной дискуссии. Такая работа, в сущности, ведется постоянно. В качестве примеров удачных, на наш взгляд, терминологических находок можно указать введенное О.А. Пучковым понятие *правовой среды* [Пучков 1999: 142], предложенный В.И. Павловым термин *«правовая субъективация»* [Павлов 2012а: 13], взятые из бурдьезианского социоанализа концепты *юридического поля* и *юридического капитала*, наконец, часто встречающееся в работах по юридической антропологии понятие *правового плюрализма* [Griffiths 1986: 2].

В заключение еще раз подчеркнем, что данная статья носит характер приглашения к дискуссии. Мы ставили своей целью постановку проблемы, ни в коей мере не претендуя на ее окончательное решение. Первоочередной задачей юридической антропологии мы считаем преодоление наметившегося «раздвоения» этой научной дисциплины, для чего необходимо более активное взаимодействие научных сообществ, в настоящее время функционирующих практически изолированно друг от друга.

Потребность в ре-институционализации юридической антропологии путем выработки новой парадигмы объективно существует в обоих этих сообществах – давно сформировавшемся сообществе антропологов и находящемся в процессе становления сообществе юристов, хотя, возможно, для первого это не очевидно именно в силу его относительно длительного стабильного существования, тогда как второе как раз находится в активном поиске парадигмы. Дело в том, что большинство членов сообщества антропологов работает в рамках парадигмы, основы которой заложены еще в первой половине XX в. «отцами-основателями» юридической антропологии – Б. Малиновским и др. Ее ядро составляют те или иные варианты концепций традиционного общества и обычного права, тогда как представителей юридического сообщества интересует прежде всего правовое бытие современного социума (то, что некоторые авторы называют «антропологией позитивного права»). При этом простой «обмен» концепциями между этими сообществами не представляется возможным, как и построение новой теории из отдельных (взятых более или менее произвольно) фрагментов существующих.

Именно поэтому необходимо формирование новой парадигмы, которая станет убедительной и работоспособной моделью, позволяющей объяснить одновременно обе «половины» правовой реальности и дать ключ к пониманию как универсального феномена человека в праве, так и всего разнообразия его культурообусловленных локальных проявлений. Не ставя своей задачей предугадать концептуальное «наполнение» этой новой парадигмы, мы предприняли попытку обозначить лишь некоторые ее опорные точки, представляющиеся нам критически важными, и наметить направления возможного процесса ее конструирования. Дальнейшее продвижение на этом пути потребует совместных усилий представителей обоих научных сообществ, разрабатывающих проблематику юридической антропологии, которые должны в итоге привести к искомому синтезу как в области методологии, так и в сфере построения фундаментальных концепций. Надеемся, что данная статья внесет свою лепту в активизацию этого диалога.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Батурчик М.В. 2009. Габитус [Электронный ресурс]. URL: <http://bourdieu.name/content/gabitus-enciklopedija-sociologii> (дата обращения: 11.06.2016).
- Бурдье П. 1993. Социология политики. М. : Socio-Logos. 336 с.
- Бочаров В.В. 2013. Неписанный закон: Антропология права. СПб. : АИК. 328 с.
- Исаев Н.А., Честнов И.Л. (ред.) 2015. Социокультурная антропология права : коллектив. моногр. / под ред. Н.А. Исаева, И.Л. Честнова. СПб. : Алеф-Пресс. 840 с.
- Карбонье Ж. 1980. Юридическая социология. М. : Прогресс. 352 с.
- Ковлер А.И. 2002. Антропология права. М. : НОРМА. 480 с.
- Нерсесянц В.С. 1999. Юридическая антропология как наука и учебная дисциплина : предисловие // Рулан Н. Юридическая антропология. М. : НОРМА. С. 1-6.
- Новикова Н.И. 2016. На праве земля держится: юридическая антропология как междисциплинарное исследование // Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии. М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН. С. 122-135.
- Павлов В.И. 2012а. От субъекта права к правовой субъективации (к началам энергийно-правового дискурса) // Наука теории и истории государства и права в поиске новых методологических решений. СПб. : Астерион. С. 115-133.
- Павлов В.И. 2012б. Энергийно-правовой дискурс как постклассическая антропология права. К началам деконструкции классической модели юридической ответственности // Изв. вузов. Правоведение. № 2. С. 14-39.
- Павлов В.И. 2014. Методологические основания антропологической концепции права // Право Украины. № 1. С. 166-181.
- Пучков О.А. 1999. Антропологическое постижение права. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. юрид. акад. 384 с.
- Пучков О.А. 2001. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве: Теоретические основы : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 502 с.
- Рулан Н. 1999. Юридическая антропология. М. : НОРМА. 310 с.
- Рязанова С.В. 2013. Категориальный аппарат религиоведения: границы, принципы, парадигмы // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 13, вып. 1. С. 37-54.
- Соколовский С.В. 2000. О возможностях диалога юристов и антропологов (терминологические заметки) // Юридическая антропология. Закон и жизнь. М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН. С. 51-62.

Соколовский С.В. 2015. Российская антропология: современная проблематика и дисциплинарное устройство // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. М. : Наследие ММК. Вып. 19. С. 132-168.

Хоружий С.С. 2002. Антропологические следствия энергийной онтологии Православия [Электронный ресурс]. URL: http://synergia-isa.ru/lib/download/lib/019_Horuzhy_Antr_Sled.doc (дата обращения: 11.06.2016).

Хоружий С.С. 2012. Исследования по исихастской традиции. Т. 2. СПб. : Изд-во Рус. христиан. гуманист. акад. 446 с.

Шматко Н.А. 1993. Введение в социоанализ Пьера Бурдьё // Бурдьё П. Социология политики. М. : Socio-Logos. С. 7-25.

Griffiths J. 1986. What is legal pluralism? // J. of Legal Pluralism. № 24. P. 1-50.

Rouland N. 1990. L'anthropologie juridique, Que sais-je? Paris : Les Presses universitaires de France. 127 p.



P. Kostogryzov. Yuridicheskaya antropologiya v poiskakh paradigm [Legal anthropology in search for a paradigm], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 81-99. (in Russ.).

Pavel I. Kostogryzov, Candidate of History, Researcher, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia, Ekaterinburg.

E-mail: pkostogryzov@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-9345-3900

Article received 12.04.2017, accepted 08.05.2017, available online 01.11.2017

LEGAL ANTHROPOLOGY IN SEARCH FOR A PARADIGM

Abstract. Studies in legal anthropology have been actively developing in Russia during the last two decades. However, the place of this discipline among the humanities and social sciences is still under discussion. There is no consensus among Russian researchers about the definition of its matter, thematic field, and structure; its conventional categorical apparatus is not elaborated yet. The present-day studies in humanities, particularly in anthropology, are interdisciplinary. On the one hand, this peculiarity opens up broad heuristic prospects; on the other hand, it produces certain epistemological difficulties. The most obvious is the problem of transferability of knowledge from one discipline's language into another one. Since the legal and anthropological studies are conducted by both law scholars and anthropologists, as well as by specialists in other social sciences, a common language of legal anthropology unambiguously understood by all scientists becomes necessary for ensuring synergy of their research efforts. This requires concerted activity of the whole research community in order to form terminological conventions. It presupposes public discussion with the participation of a broad circle of scholars who represents different fields of knowledge but are committed to the common legal anthropological research agenda. In characterizing the basic methodological approaches coexisting in contemporary Russian legal anthropology, the author outlines the most promising issues, which such discussion could develop. The author's vision of the object, the thematic field, and the structure of legal anthropology is presented as one of possible versions. One of the most promising theories

claiming to become the philosophical foundation of legal-anthropological studies – the anthropology of energy – is considered.

Keywords: legal anthropology, methodology of science, paradigm, research approach, anthropology of energy.

References

Baturchik M.V. *Gabitus* [Habitus], available at: <http://bourdieu.name/content/gabitus-enciklopedija-sociologii> (accessed 11 June 2016). (in Russ.).

Bocharov V.V. *Nepisanyy zakon: Antropologiya prava* [Unwritten Law. Legal Anthropology], St. Petersburg, AIK, 2013, 328 p. (in Russ.).

Bourdieu P. *Sotsiologiya politiki* [Sociology of Politics], Moscow, Socio-Logos, 1993, 336 p. (in Russ.).

Carbonnier J. *Yuridicheskaya sotsiologiya* [Legal Sociology], Moscow, Progress, 1980, 352 p. (in Russ.).

Griffiths J. What is legal pluralism? *J. of Legal Pluralism*, 1986, no. 24, p. 1-50.

Horuzhiy S.S. *Antropologicheskie sledstviya energiyonoy ontologii Pravoslaviya* [Anthropologic Consequences of the Orthodox Energy Ontology], available at: http://synergia-isa.ru/lib/download/lib/019_Horuzhy_Antr_Sled.doc (accessed 11 June 2016). (in Russ.).

Horuzhiy S.S. *Issledovaniya po isikhastskoy traditsii. T. 2* [Studies on the Hesyhast Tradition. Vol. 2], St. Petersburg, Izd-vo Rus. khristian. gumanit. akad., 2012, 446 p. (in Russ.).

Isaev N.A., Chestnov I.L. (eds.) *Sotsiokul'turnaya antropologiya prava* [Socio-Cultural Legal Anthropology], St. Petersburg, Alef-Press, 2015, 840 p. (in Russ.).

Kovler A.I. *Antropologiya prava* [Legal Anthropology], Moscow, NORMA, 2002, 480 p. (in Russ.).

Nersesyants V.S. *Yuridicheskaya antropologiya kak nauka i uchebnaya distsiplina : predislovie* [Legal Anthropology as a Science and an Academic Subject], *Rulan N. Yuridicheskaya antropologiya*, Moscow, NORMA, 1999, pp. 1-6. (in Russ.).

Novikova N.I. *Na prave zemlya derzhitsya: yuridicheskaya antropologiya kak mezhdistsiplinarnoe issledovanie* [The Earth is Held up by the Law: Legal Anthropology as an Interdisciplinary Study], *Fenomen mezhdistsiplinarnosti v otechestvennoy etnologii*, Moscow, In-t etnologii i antropologii RAN, 2016, pp. 122-135. (in Russ.).

Pavlov V.I. *Energiyno-pravovoy diskurs kak postklassicheskaya antropologiya prava. K nachalam dekonstruktsii klassicheskoy modeli yuridicheskoy otvetstvennosti* [Discours of Energy Law Theory as a Post-Classic Legal Anthropology], *Izv. vuzov. Pravovedenie*, 2012, no. 2, pp. 14-39. (in Russ.).

Pavlov V.I. *Metodologicheskie osnovaniya antropologicheskoy kontseptsii prava* [Methodological Fundamentals of Anthropologic Conception of Law], *Pravo Ukrainy*, 2014, no. 1, pp. 166-181. (in Russ.).

Pavlov V.I. *Ot sub'ekta prava k pravovoy sub»ektivatsii (k nachalam energiyno-pravovogo diskursa)* [From Legal Subject towards Legal Subjectivation], *Nauka teorii i istorii gosudarstva i prava v poiske novykh metodologicheskikh resheniy*, St. Petersburg, Asterion, 2012, pp. 115-133. (in Russ.).

Puchkov O.A. *Antropologicheskoe postizhenie prava* [Anthropologic Comprehension of Law], Ekaterinburg, Izd-vo Ural. gos. yurid. akad., 1999, 384 p. (in Russ.).

Puchkov O.A. *Yuridicheskaya antropologiya i razvitie nauki o gosudarstve i prave: Teoreticheskie osnovy : dis. ... d-ra yurid. nauk* [Legal Anthropology and Development of Law Science: dissertation], Ekaterinburg, 2001, 502 p. (in Russ.).

Rouland N. *L'anthropologie juridique, Que sais-je?* [Legal anthropology, What do I know?], Paris, Les Presses universitaires de France, 1990, 127 p. (in French.).

Rouland N. *Yuridicheskaya antropologiya* [Legal Anthropology], Moscow, NORMA, 1999, 310 p. (in Russ.).

Ryazanova S.V. *Kategorial'nyy apparat religiovedeniya: granitsy, printsipy, paradigmy* [Categorical Apparatus of Religion Studies], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2013, vol. 13, iss. 1, pp. 37-54. (in Russ.).

Shmatko N.A. *Vvedenie v sotsioanaliz P'era Burd'e* [Introduction to Pierre Bourdieu's Socioanalysis], *Burd'e P. Sotsiologiya politiki*, Moscow, Socio-Logos, 1993, pp. 7-25. (in Russ.).

Sokolovskiy S.V. *Ovozmozhnostyakh dialoga yuristov i antropologov (terminologicheskie zametki)* [On the Possibility of a Dialogue between Jurists and Anthropologists], *Yuridicheskaya antropologiya. Zakon i zhizn'*, Moscow, In-t etnologii i antropologii RAN, 2000, pp. 51-62. (in Russ.).

Sokolovskiy S.V. *Rossiyskaya antropologiya: sovremennaya problematika i distsiplinarnoe ustroystvo* [Russian Anthropology: Present-Day Problems and Disciplinary Structure], *Etnometodologiya: problemy, podkhody, kontseptsii*, Moscow, Nasledie MMK, 2015, iss. 19, pp. 132-168. (in Russ.).



Рыков А.Н. К вопросу о негосударственной сущности органов местного самоуправления // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 100–114.

УДК 342.25:352

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.100115

К ВОПРОСУ О НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Анатолий Николаевич Рыков

кандидат юридических наук,
первый заместитель главы города Сочи,
Администрация города Сочи,
Россия, Краснодарский край, г. Сочи.
E-mail: a.n.rykov@gmail.com

Материал поступил в редколлегию 11.04.2017 г.

В статье на основе сравнительно-правового и исторического методов рассматривается тезис о негосударственной сущности нижнего уровня публичной власти, о так называемых общественных началах в природе местного самоуправления. Автор указывает, что противопоставление общественных начал государственной природе местной власти вступает в прямое противоречие с представлением о местном самоуправлении как о форме народовластия, способе осуществления народом принадлежащей ему власти, и подчеркивает, что публичный характер муниципальной власти предопределяет императивность любых предписаний, от нее исходящих.

Отдельно исследуются вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти. На основе анализа юридических конструкций, материалов практики, форм взаимоотношений государственной и местной властей, автор утверждает, что фактически органы местного самоуправления на сегодняшний день представляют собой нижний уровень единой государственно-муниципальной системы публичной власти – какие-либо отличия муниципальной власти от государственной власти, обусловленные ее «особой природой», не выявляются, и исходя из этого делает общий вывод об отсутствии так называемой негосударственной сущности органов местного самоуправления. Далее доказывается несостоятельность положения о том, что действующее федеральное законодательство предполагает какую-либо особую институционализацию муниципальной власти, а также исследуются выводы теоретиков о государственной и негосударственной природе местного самоуправления.

С учетом этих выводов, автор рассматривает понятия «интерес» и «публичный интерес». Как известно, классическое применение понятия «интерес» в российском праве связано либо с интересами государства, либо с интересами общества (или отдельных его представителей – скажем, гражданское право часто обращается к такому понятию, как «законные интересы граждан»). С помощью же термина «публичный интерес» делается попытка объединить различающиеся по содержанию виды интересов – частный и общественный. Но публичный интерес не есть просто интерес общества, это интерес общества, санкционированный (признанный и публично

выраженный) властью. На разных уровнях публичной власти он трансформируются в различающиеся, даже взаимоисключающие потребности, и задача государства – найти и юридически закрепить механизмы, которые позволили бы выстраивать баланс таких интересов, подчинение их общему благу. В связи с этим автор приходит к выводу о том, что, как только какой-либо публичный интерес объективируется правом, он становится общим для всей системы публичной власти; баланс интересов основан на принципе внутреннего непротиворечия. Ярким примером, подтверждающим данный тезис, является соблюдение принципа целевого использования муниципального имущества, включая наличие исчерпывающего пообъектного перечня имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения. Однако, как только этот публичный интерес изменился, были изменены и правила, связанные с ним: соответствующие перечни были исключены из федерального закона. Приведенные аргументы, а также исследованные взгляды экспертов на соотношение понятий, полагает автор, свидетельствуют, что понятия «государственный интерес» и «публичный интерес» соотносятся как общее и целое, а именно государственный интерес – это неотъемлемая часть более широкого публичного интереса.

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, публичная власть, самостоятельность местного самоуправления, муниципальная власть, население муниципального образования, негосударственная сущность органов местного самоуправления, природа муниципальной власти.

Наиболее часто в качестве основного отличия муниципальной власти от власти государственной указывают «негосударственную сущность органов местного самоуправления» [Иванченков 2014; Осыченко 2009; Шугрина 2016]. Данная точка зрения отражается в официальных актах – в частности, в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: «Статья 12 Конституции Российской Федерации, как бы признавая “негосударственные” начала местного самоуправления, позволяет выявить специфическую, муниципально-правовую природу соответствующего уровня властеотношений, которые определенной своей стороной (самоуправленческой) вторгаются одновременно и в систему институтов гражданского общества» [Постановление Конституционного Суда № 30-П: 2015]. Но здесь неизбежно возникает вопрос: в чем именно заключается эта негосударственная сущность? Наиболее популярный ответ, который дают представители науки муниципального права, заключается в том, что источник этой власти – не государство, а местное население, то есть речь идет об общественных началах в природе местного самоуправления. Но при такой трактовке негосударственных начал местного самоуправления возникает прямое противоречие с представлением о нем как о форме народовластия, как о способе осуществления народом принадлежащей ему власти. Ибо, когда мы говорим о народовластии, мы не рассматриваем народ отдельно как источник общественной власти и его же как источник власти государственной. Один и тот же народ осуществляет обе эти формы власти, он же является носителем и власти муниципальной. То есть источник власти надо искать не в государстве, не в обществе, а в народе. Это означает, что сама постановка вопроса о негосударственной сущности местного самоуправления в таком разрезе некорректна.

Другая трактовка данного принципа связана с противопоставлением государственной власти и власти общественной: государственная власть – это институт подчинения, иногда – подавления, опирающийся на аппарат насилия, тогда как общественная власть – это институт согласования воли, координации, не опирающийся на механизм принуждения. Поэтому местное самоуправление как власть, являющаяся и общественной, и государственной одновременно, отличается и от первой, и от второй форм народовластия: так, например, «институт правотворческой инициативы граждан в качестве формы муниципальной демократии демонстрирует пример отличия местного самоуправления от государственной власти, более широкого применения инструментов непосредственного народовластия на муниципальном уровне» [Бабичев, Шургина 2015]. С такого рода постановкой вопроса также невозможно согласиться: публичный характер муниципальной власти предопределяет императивность любых предписаний, от нее исходящих. Ни о каком согласовании, ни о какой координации (после того как решение принято) сегодня в системе местного самоуправления речи не идет даже в принципе. Вопрос: какой муниципальный правовой акт можно не исполнять? Ответ: только тот, который сам, в своих нормах, допускает свободу поведения субъекта регулирующего воздействия. Но в такой ситуации речь идет не об институте согласования воли, а о выборе метода правового регулирования – если он диспозитивен, то лица, подпадающие под соответствующее регулирование, могут выбрать не запрещенную законом форму поведения, а если императивен – обязаны вести себя предписываемым образом. И совершенно безразлично в данном случае, исходят ли соответствующие предписания от государства или муниципального образования.

В приведенном выше примере с институтом правотворческой инициативы, который, кстати, присущ далеко не только системе местного самоуправления, поскольку он реализуется и на уровне субъектов Российской Федерации – в форме «народной законотворческой инициативы» (Иркутская область), «народной правотворческой инициативы» (Липецкая, Ярославская, Калужская области), «народной инициативы (граждан)» (Томская область), «законодательной инициативы» граждан (Тамбовская, Липецкая, Волгоградская, Свердловская, Астраханская, Смоленская, Омская области) [Афиногенов 2008], институты координации и согласования «работают» лишь на стадии выдвижения инициативы, сбора подписей и т.д. но если соответствующее решение принято – оно становится общеобязательным как для инициаторов, так и для всех «остальных» лиц, которым оно адресовано (один из признаков нормативности правового акта – неопределенный круг субъектов воздействия). И ни один инициатор не сможет ни отказать от выполнения соответствующих предписаний, ни «собрать подписи» за «невыполнение акта».

С учетом этого представляется доказанным отсутствие отличия муниципальной власти от государственной власти по природе – ввиду отсутствия так называемой негосударственной сущности органов местного самоуправления.

В науке муниципального права также весьма распространен тезис об особой институционализации муниципальной власти. Суть данного тезиса заключается в том, что аппарат, реализующий муниципально-властные полномочия, обособлен и опирается на специальное законодательство о местном самоуправлении [Пешин 2008: 118; Стукалов 2010: 30]. В современных реалиях данный тезис представляется более чем спорным. Прежде всего, что понимается под обособлением аппарата? Ни на одном уровне власти мы не найдем объединенного аппарата власти, даже если возьмем, например, такие типологически близкие органы, как Администрация Президента Российской Федерации и аппарат Правительства Российской Федерации. Это два разных аппарата, реализующих государственно-властные полномочия, и они институционально отделены друг от друга, несмотря на большое количество функциональных пересечений. Более того, законодательное регулирование аппарата муниципальной власти в прямом смысле, то есть регламентация муниципальной службы, наоборот, всячески их сближает, а не отделяет. Так, ст. 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (в настоящее время действует в редакции от 30 июня 2016 года) «О муниципальной службе в Российской Федерации» [Федеральный закон № 25-ФЗ, 2007] и ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (в настоящий момент действует в редакции от 3 июля 2016 года) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [Федеральный закон № 79-ФЗ, 2004] симметрично указывают на взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации и устанавливают средства обеспечения этой взаимосвязи, в числе которых:

- единство основных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы;
- единство ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы;
- единство требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию;
- учет стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской службы и учет стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы;
- соотносительность основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих;
- соотносительность основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца.

И совершенно некорректно указание на то, что этот аппарат опирается только на специальное законодательство о местном самоуправлении. Наоборот, если, к примеру, при регулировании государственной гражданской службы мы легко находим такую «опору», то ст. 23 Федерального закона

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» выводит государственных служащих из-под действия трудового законодательства Российской Федерации, устанавливая, что взаимоотношения между гражданским служащим и представителем нанимателя регулируются особым документом – служебным контрактом (а не трудовым договором), регулирующим порядок прохождения гражданской службы, замещения должности гражданской службы и определяющим права и обязанности гражданского служащего как работника. Но если мы с этих же позиций изучим нормы муниципального законодательства, то увидим совершенно иную картину: согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). А п. 2 ст. 3 этого же Федерального закона прямо говорит о том, что на муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными данным Федеральным законом.

Аргумент о наличии специального законодательства также не может рассматриваться как справедливый. Нередко отдельные органы публичной власти: Правительство Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации – опираются на специальное законодательство, но никто не призывает отделять эти органы от системы государственной власти.

Таким образом, представляется доказанным положение о том, что действующее федеральное законодательство не предполагает какой-либо особой институционализации муниципальной власти.

Многие ученые совершенно справедливо указывают на то, что в России не может существовать публичная власть на местах вне государственно-правового контента. Так, Н.Л. Пешин, являясь сторонником самостоятельной, то есть отделенной от государства муниципальной власти, в то же время пишет, что «в теории муниципального права неоднократно ставился вопрос о принципиальной недопустимости отделения местного самоуправления от системы государственной власти, поскольку местное самоуправление – это прямое продолжение государственной власти, а органы местного самоуправления – это разновидность органов государственной власти... Из этого следует вывод о том, что понятия “публичная власть”, “муниципальная власть” и “государственная власть” – это совпадающие понятия» [Пешин 2008: 120].

Н.В. Постовой пишет о том, что «в мире сформировались две основные концепции местного самоуправления, отличающиеся отношением последнего к государству: англосаксонская – по ней местное самоуправление освобождается от государственных функций; европейская континентальная – по ней местное самоуправление задействовано на реализацию государственных функций. История местного самоуправления в России свидетельствует о том, что оно всегда участвовало в осуществлении значительной части го-

сударственных функций и теоретически обосновывалось государственной теорией самоуправления» [Постовой 2002: 5]. В учебнике «Муниципальное право России» подчеркивается, что «введение местного самоуправления в обществе зависит от органов государственной власти, принимающих законы... Здесь прослеживается неразрывная связь органов государственной власти с местным самоуправлением, а также с жителями, которые составляют одну из его основ» [Постовой, Таболин, Черногор 2016: 63].

Сторонниками теории о государственной природе местного самоуправления являлись и Г.В. Барабашев и К.Ф. Шеремет. Так, Г.В. Барабашев характеризовал тезис о негосударственной природе местного самоуправления как «миф, который создан на основе устаревшей западной концепции местного самоуправления...», поскольку «местное самоуправление – это государственная власть особого рода» [Барабашев 1993: 145]. А по мнению К.Ф. Шеремета, «действительная природа местного самоуправления состоит в том, что оно является, с одной стороны, аналогом центрального правительства, а с другой стороны – формой народовластия, которая обеспечивает реализацию прав граждан на местное самоуправление, а местному населению – возможность превращения своей воли в публичную власть» [Шеремет 1998: 38]. Это очень важные аргументы, поскольку фундаментом современной доктрины самостоятельной муниципальной власти является противопоставление местного населения народу в целом. Например, С.А. Авакьян пишет: «Признание того факта, что у большинства граждан любого государства имеются особые, так называемые “публичные”, интересы, отличные от государственных, позволило обособиться такому социально-политическому феномену, как местное самоуправление» [Авакьян 2014: 159]. Данная точка зрения представляется спорной. Прежде всего, необходимо уточнить, что именно следует понимать под термином «публичный интерес».

Общеизвестно, что классическое применение понятия «интерес» в российском праве связано либо с интересами государства, либо с интересами общества (или отдельных его представителей – скажем, гражданское право часто обращается к понятию «законные интересы граждан»). Как правило, с помощью термина «публичный интерес» делается попытка объединить два этих различающихся по содержанию вида интересов. Так, Н.Н. Косаренко говорит о том, что «в строгом смысле слова это общие интересы, своего рода усреднение личных, групповых интересов. Это общественные интересы, без удовлетворения которых невозможно, с одной стороны, реализовать интересы частные, с другой – обеспечить целостность, устойчивость и нормальное развитие организаций, государств, наций, социальных слоев, наконец, общества в целом. Это – официально признанные интересы, имеющие поддержку государства и правовую защиту. Следовательно, публичный интерес есть признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией его существования и развития» [Косаренко 2007: 157]. А по мысли В.А. Кряжкова, формулировка «государственные и общественные

интересы» некорректна: «в ней заключено, с одной стороны, разделение и, с другой стороны, противопоставление названных групп интересов – государственных и общественных, поэтому было бы целесообразно употребить понятие “публичные интересы”» [Кряжков 1999: 92]. Ю.А. Тихомиров полагает (расставляя определенным образом приоритеты), что публичный интерес – это «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития. Государство является особым субъектом права, потому что оно призвано выражать публичные интересы, сочетающиеся, с одной стороны, интересы организаций, наций, социальных слоев, общества в целом и, с другой стороны, частные интересы» [Тихомиров 1995: 55]. И, по сути, развивая эту идею, А.А. Саурин указывает на то, что «под термином “публичные интересы” понимаются не просто интересы общества, но интересы общества, санкционированные (признанные и публично выраженные) властью. Хотя исходное указание на то, что такие интересы должны соответствовать интересам всего (в идеале) или большинства (в реальности) общества, также, несомненно, сохраняет доминирующее значение ... публичный интерес неоднороден по природе, на разных уровнях публичной власти он трансформируется в различающиеся, даже взаимоисключающие потребности. И задача государства – найти и юридически закрепить механизмы, которые позволили бы выстраивать баланс таких интересов, подчинение их общему благу» [Саурин 2014: 150].

Сходной точки зрения придерживается и В.Д. Мазаев, который говорит о том, что публичный интерес – это не только интерес государства, отделенный от интересов граждан, общества. Публичный интерес – это общесоциальный интерес, отражающий в концентрированной форме весь спектр интересов в обществе [Мазаев 2004: 27]. Более того, сама постановка вопроса о противопоставлении, конфликте публичных интересов, по его мнению, невозможна: «идея жесткой иерархии интересов – национальных, региональных и местных – концептуально неверна. Публичный интерес – явление объективное... В одних случаях безусловный приоритет имеет общенациональный публичный интерес, в других – публичный интерес населения региона» [Мазаев 2004: 27].

Все приведенные аргументы явственно свидетельствуют, что понятия «государственный интерес» и «публичный интерес» соотносятся как общее и целое, а именно государственный интерес – это неотъемлемая часть более широкого публичного интереса. И если «внутри» публичного интереса возникает противоречие – какая-то группа противопоставляет себя в своих интересах государству, то очевидно, что задача государства – либо найти компромисс (или иным образом разрешить противоречие), узаконить его и тем самым сделать «противоречащий» интерес частью интереса государственного, либо запретить публичное проявление данного «противоречащего» интереса, то есть установить запрет на существование этого интереса как противоправного. Примеры и первого, и второго мы легко найдем в практике взаимоотношений государственной власти и местного самоуп-

правления. Так, право муниципальной собственности как составная часть (одна из признаваемых государством форм) абсолютного вещного права собственности, казалось бы, предполагает свободу муниципального образования в распоряжении своим имуществом – в границах, установленных нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно так и относились муниципальные образования (это особенно характерно для первых лет существования самостоятельной муниципальной власти) к своему имуществу: продавали (приватизировали), сдавали в аренду, обменивали и т.п. В 2003 г. государство установило абсолютный запрет на такого рода «пользование и распоряжение» муниципальной собственностью: ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вступила в силу со дня его опубликования, и она ввела целевой характер муниципальной собственности: муниципалитеты могли владеть, пользоваться и распоряжаться только и исключительно теми объектами имущества, которые были предназначены для осуществления тех или иных публичных дел: решения вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий и т.д.

Новая «постановка вопроса» немедленно вызвала противоречие государственного и муниципального интересов: если имущество необходимо использовать только для решения конкретного вопроса местного значения – в аренду его сдавать (в целях извлечения дохода) уже невозможно. Более того, ст. 50 Федерального закона предусматривает своего рода «санкцию»: в случае наличия у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующего требованиям целевого предназначения, оно подлежит репрофилированию (изменению целевого назначения) либо отчуждению. Хотя эта санкция носит фиктивный (в известной степени) характер (до сих пор, несмотря на сохранившееся в федеральном законе требование о целевом характере муниципального имущества и указание на его принудительное репрофилирование в ином случае, какой-либо формализованной процедуры «репрофилирования» не существует), она оказала свое воздействие, существенно ограничив возможности муниципальных образований по использованию своей собственности. И муниципальные образования немедленно попытались отстоять приоритет своего «публично-муниципального интереса» перед «публично-государственным», указывая, что такого рода нормы федерального закона ограничивают право муниципальных образований иметь в собственности любое имущество, не изъятое из гражданского оборота и не ограниченное в обороте, в частности в целях пополнения местных бюджетов. Более того, в этом они усмотрели посягательство на фундаментальные основы конституционного строя Российской Федерации, а именно нарушение положений ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации, которая, как известно, устанавливает, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Но целевой характер публичной собственности, по сути,

ставит частную форму собственности в доминирующее положение по отношению к иным ее формам; таким образом, государство, принимая соответствующие нормы, ограничивает гарантированные Конституцией Российской Федерации права собственников (муниципальных образований) по владению, пользованию и распоряжению имуществом и нарушает основы конституционного строя Российской Федерации, такие как свобода экономической деятельности и равная защита всех форм собственности [Определение Конституционного Суда № 540-О, 2007].

Государство в лице Конституционного Суда Российской Федерации отреагировало совершенно однозначно: «Не входя в систему органов государственной власти, органы местного самоуправления вместе с тем обладают публично-властными полномочиями применительно к возложенным на местное самоуправление задачам, то есть выполняют функции публичной власти на соответствующем территориальном уровне. При этом конституционными характеристиками местного самоуправления как формы публичной власти обуславливаются особенности его правосубъектности, сопоставимые с особенностями правосубъектности иных публичных образований – Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Перечисляя имущество, которое может находиться в собственности муниципальных образований, федеральный законодатель не ограничивает их в возможности иметь в собственности и иное имущество, предназначенное для осуществления возложенных на них полномочий. Тем самым при осуществлении правового регулирования разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления законодателем соблюден принцип соразмерности ресурсов местного самоуправления предоставленным полномочиям» [Определение Конституционного Суда № 540-О, 2007].

Таким образом, государство принудительно сделало частью публичного (в широком смысле) интереса соблюдение принципа целевого использования муниципального имущества, включая наличие исчерпывающего пообъектного перечня имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения. Однако, как только этот публичный интерес изменился, а именно государство согласилось с возможностью перераспределения полномочий между муниципальным и региональным (субъектов Российской Федерации) уровнями публичной власти, что, конечно же, зачастую влечет и перераспределение пообъектного состава муниципального имущества, были изменены и правила, связанные с ним: соответствующие перечни были исключены из ст. 50 Федерального закона [Федеральный закон № 136-ФЗ, 2014].

Есть и многочисленные примеры обратного (то есть определения баланса государственного и муниципального интереса «не в пользу» государства). Так, нормы ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» содержат положения о том, что законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения; в соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем уставом муниципального образования определяется та избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. На основе данных положений субъект Российской Федерации (Челябинская область) принимает свой Закон 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», и этот закон вынуждает все муниципальные образования региона, включая сельские поселения, перейти на пропорциональную систему выборов.

В целом же приведенные примеры, как представляется, убедительно свидетельствуют о том, что, как только публичный интерес объективируется правом (а предметом правовых исследований может быть только такой – объективированный правом интерес, в иных случаях – это объект для изучения других наук: социологии, политологии и т.д.), он становится общим для всей системы публичной власти и баланс этих интересов основан на принципе внутреннего непротиворечия.

Таким образом, представляется доказанным, что противопоставление общественных начал государственной природе местной власти вступает в прямое противоречие с представлением о местном самоуправлении как о форме народовластия, способе осуществления народом принадлежащей ему власти. При этом органы местного самоуправления, в сущности, на сегодняшний день являются нижним уровнем единой государственно-муниципальной системы публичной власти – какие-либо отличия муниципальной власти от государственной власти в силу «особой природы» не выявляются. Сказанное, несомненно, свидетельствует о формальном характере ст. 12 Конституции Российской Федерации, установившей принцип самостоятельности местного самоуправления и невхождения органов местного самоуправления в систему органов государственной власти, – федеральное законодательство редуцировало его через систему как финансово-правовых, так и организационно-правовых механизмов (например, назначение главы муниципального образования депутатами представительного органа муниципального образования по итогам конкурса). На этом основании можно сделать и общий вывод об отсутствии так называемой негосударственной сущности органов местного самоуправления.

В связи с этим понятие «публичный интерес» в контексте интереса муниципального трактуется не просто как интерес общества, но интерес общества, санкционированный (признанный и публично выраженный) властью. На разных уровнях публичной власти он трансформируется в различающиеся, даже взаимоисключающие потребности. И задача государства – найти и юридически закрепить механизмы, которые позволили бы выстраивать баланс таких интересов, подчинение их общему благу. Поэтому, как только какой-либо публичный интерес объективируется правом, он

становится общим для всей системы публичной власти, и баланс этих интересов основан на принципе внутреннего непротиворечия, то есть понятия «государственный интерес» и «публичный интерес» соотносятся как общее и целое, а именно государственный интерес – это неотъемлемая часть более широкого публичного интереса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Авакьян С.А. (ред.) 2014. Современные проблемы организации публичной власти: монография / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова [и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М. : Юстицинформ. 596 с.

Афиногенов Д.В. 2008. Законодательная инициатива граждан и их объединений в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Публич. политика. № 1 (1). С. 19-27. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Afinogenov_zak_gr-2007.pdf (дата обращения: 12.03.2017).

Бабичев И.В., Шургина Е.С. (ред.) 2015. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шуриной. 2-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА – ИНФРА-М. 672 с.

Барабашев Г.В. 1993. Местное самоуправление в России. Теория и практика // Государство и право. № 6. 445 с.

Иванченков Ю.В. 2014. Понятие местного самоуправления в конце XIX века // История государства и права. № 16. С. 33-38.

Косаренко Н.Н. 2007. Категория «интерес» в системе публичного и частного права // Государство и гражданское общество. № 3. С. 151-162.

Кряжков В.А. 1999. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. № 10. С. 82-99.

Мазаев В.Д. 2004. Понятие и конституционные принципы публичной собственности. М. : Ин-т права и публичной политики. 227 с.

Осыченко Е.В. 2009. Негосударственная природа муниципальных нормативно-правовых актов // Государственная власть и местное самоуправление. № 8. С. 37-40.

Пешин Н.Л. 2008. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы развития конституционно-правовой модели и практики взаимоотношений : дис. ... д-ра юрид. наук. М. 270 с.

Постовой Н.В. 2002. Местное самоуправление. Проблемы и перспективы. М. : Юрист. 356 с.

Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. 2016. Муниципальное право России : учебник / под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юриспруденция. 456 с.

Саурин А.А. 2014. Право собственности в Российской Федерации: конституционно-правовые пределы реализации и ограничения. М. : Статут. 351 с.

Стукалов А.В. 2010. Компетенция органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства // Адм. и муницип. право. № 12. С. 684-690.

Тихомиров Ю.А. 1995. Публичное право. М. : БЕК. 455 с.

Шеремет К.Ф. 1998. Становление правовой базы местного самоуправления в Российской Федерации // Местное самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования : учеб. пособие / под ред. К.Ф. Шеремета, И.И. Овчинникова. М. : Юрист. 438 с.

Шугрина Е.С. 2016. Понятие местного самоуправления как конституционной ценности // Юрид. мир. № 2. С. 16-20.

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152.

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями)» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 22. Ст. 2770.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области “Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2015. № 50. Ст. 7226.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2006 года № 540-О «По запросу Правительства Самарской области о проверке конституционности статьи 1, частей шестой и восьмой статьи 2 Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”” и статьи 50 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Вестн. Конституц. Суда Рос. Федерации. 2007. № 2.



A. Rykov. K voprosu o negosudarstvennoy sushchnosti organov mestnogo samoupravleniya [On the issue of non-state nature of local self-government bodies], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 4, pp. 100–114. (in Russ.).

Anatoly N. Rykov, Candidate of Law, First Deputy of the Mayor of Sochi, Sochi City Administration, Sochi, Krasnodar region, Russia.
E-mail: a.n.rykov@gmail.com

Article received 11.04.2017, accepted 25.05.2017, available online 01.11.2017

ON THE ISSUE OF NON-STATE NATURE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

Abstract. The article is based on legal comparative and historical methods; it examines the thesis of non-state nature of the lower level of public authority, or so-called

“social principles” in the nature of local self-government. At the same time, it is shown that opposition of “social principles” to the state nature of local authorities directly contradicts the notion of local self-government as a form of democracy, and as a way of exercising the power belonging to people. Further, the author proves that public nature of municipal authorities predetermines imperative character of any prescriptions coming from them.

In addition, the article raises issues of interaction between local government and public authorities. Based on the analysis of legal constructions, practice, forms of relations between state and local authorities, the author shows that today the local self-government in fact is the lowest level of a unified state-municipal system of public authorities. Any differences between municipal bodies and bodies of state power due to “specific nature” of the latter cannot be revealed. Consequently, general conclusion concerning the absence of so-called “non-state nature of local self-government bodies” is drawn. Equally, groundlessness of the provision that current federal legislation presupposes any “special institutionalization of municipal power” is shown. The conclusions of theoreticians regarding state and non-state nature of local self-government are studied separately.

Basing on these conclusions, the article further examines such terms as “interest”, and “public interest”. It is well-known that classic application of the first term in Russian law is connected either with the interests of the state or with the interests of society (or its individual representatives – for example, civil law often refers to such a term as “legitimate interests of citizens”). The introduction of “public interest” is the attempt to unite two types of interests – private and public, which are different in content. “Public interest” is not just an interest of society, but also the interest sanctioned (recognized and publicly expressed) by the public authorities. Different levels of public authority transform it into different, even alternative needs. Moreover, a state goal is to find and legally fix mechanisms that would allow building a balance of such interests, subjecting them to the common weal. In this regard, the author concludes that as soon as law objectifies any public interest, it becomes common to the entire system of public authorities, and the balance of these interests is based on the principle of internal non-contradiction. A vivid example proving this thesis is the observance of the principle of permitted use of municipal property including the existence of an exhaustive on-object list of property intended for decision on matters of local significance. However, as soon as this public interest is changed, the rules related to it are subject of simultaneous change; in the above-mentioned case, the corresponding lists were excluded from the federal law. Given arguments, as well as experts' views on correlation of concepts, indicate that the concepts of “public interest” and “state interest” correlate in a whole, as well as in parts; namely, state interest is an integral part of a wider (whole) public interest.

Keywords: state authority; local self-government; public authority; autonomy of local self-government; municipal authority; population of the municipality; non-state essence of local self-government bodies; nature of municipal authority.

References

Afinogenov D.V. *Zakonodatel'naya initsiativa grazhdan i ikh ob»edineniy v Rossiyskoy Federatsii* [Legislative initiative of citizens and their associations in the Russian Federation], *Publich. politika*, 2008, no. 1 (1), pp. 19-27, available at: http://www.civisbook.ru/files/File/Afinogenov_zak_gr-2007.pdf (accessed 12 March 2017). (in Russ.).

Avak'yan S.A. (resp. ed.), Arbuzkin A.M., Kenenova I.P. et al. *Sovremennyye problemy organizatsii publichnoy vlasti: monografiya* [Modern problems of the organization of public authority: monograph], Moscow, Yustitsinform, 2014, 596 p. (in Russ.).

Babichev I.V., Shurgina E.S. (eds.) *Kommentariy k Federal'nomu zakonu «Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii» (postateynnyy)* [Commentary to the Federal Law “On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation”], 2 nd ed., rev. and augm., Moscow, NORMA, INFRA-M, 2015, 672 p. (in Russ.).

Barabashev G.V. *Mestnoe samoupravlenie v Rossii. Teoriya i praktika* [Local government in Russia. Theory and practice], *Gosudarstvo i pravo*, 1993, no. 6. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 2 marta 2007 goda № 25-FZ «O munitsipal'noy sluzhbe v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of March 2, 2007 No. 25-FZ “On Municipal Service in the Russian Federation”], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2007, no. 10, art. 1152. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 27 iyulya 2004 goda № 79-FZ «O gosudarstvennoy grazhdanskoj sluzhbe Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of July 27, 2004 No 79-FZ “On the Civil Service of the Russian Federation”], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2004, no. 31, art. 3215. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 27 maya 2014 goda № 136-FZ «O vnesenii izmeneniy v stat'yu 26.3 Federal'nogo zakona “Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub»ektov Rossiyskoy Federatsii” i Federal'nyy zakon “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii” (c izmeneniyami i dopolneniyami)» [Federal Law No. 136-FZ of May 27, 2014 “On Amending Article 26.3 of the Federal Law “On General Principles for the Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Subjects of the Russian Federation” and the Federal Law “On General Principles for the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation”»], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2014, no. 22, art. 2770. (in Russ.).

Ivanchenkov Yu.V. *Ponyatie mestnogo samoupravleniya v kontse XIX veka* [The concept of local government in the late XIX century], *Istoriya gosudarstva i prava*, 2014, no. 16, pp. 33-38. (in Russ.).

Kosarenko N.N. *Kategoriya «interes» v sisteme publichnogo i chastnogo prava* [The category of “interest” in the public and private law system], *Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo*, 2007, no. 3, pp. 151-162. (in Russ.).

Kryazhkov V.A. *Publichnyy interes: ponyatie, vidy i zashchita* [Public interest: concept, types and protection], *Gosudarstvo i pravo*, 1999, no. 10, pp. 82-99. (in Russ.).

Mazaev V.D. *Ponyatie i konstitutsionnye printsipy publichnoy sobstvennosti* [The concept and constitutional principles of public property], Moscow, In-t prava i publichnoy politiki, 2004, 227 p. (in Russ.).

Opreделение Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 2 noyabrya 2006 goda № 540-O «Po zaprosu Pravitel'stva Samarskoy oblasti o proverke konstitutsionnosti stat'i 1, chastey shestoy i vos'moy stat'i 2 Federal'nogo zakona “O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Federal'nyy zakon “Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub»ektov Rossiyskoy Federatsii”” i stat'i 50 Federal'nogo zakona “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii”» [Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 2 November 2006 No. 540-O «Upon the request of the Government of the Samara Region on the verification of the constitutionality of Article 1, parts six and eight of Article 2 of the Federal Law “On Amendments and Additions to the Federal Law “On the General Principles of Organization of Legislative

(Representative and executive bodies of state power of the subjects of the Russian Federation” and Article 50 of the Federal Law “On general principles of organization of local self-government in the Russian Federation”», *Vestn. Konstituts. Suda Ros. Federatsii*, 2007, no. 2. (in Russ.).

Osychenko E.V. *Negosudarstvennaya priroda munitsipal'nykh normativno-pravovykh aktov* [Non-governmental nature of municipal regulations], *Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie*, 2009, no. 8, pp. 37-40. (in Russ.).

Peshin N.L. *Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie v Rossii: problemy razvitiya konstitutsionno-pravovoy modeli i praktiki vzaimootnosheniy : dis. ... d-ra yurid. nauk* [State power and local self-government in Russia: the problems of development of the constitutional legal model and the practice of mutual relations: dissertation], Moscow, 2008, 270 p. (in Russ.).

Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 1 dekabrya 2015 goda № 30-P «Po delu o provere konstitutsionnosti chastey 4, 5 i 5.1 stat'i 35, chastey 2 i 3.1 stat'i 36 Federal'nogo zakona “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii” i chasty 1.1 stat'i 3 Zakona Irkutskoy oblasti “Ob otdel'nykh voprosakh formirovaniya organov mestnogo samoupravleniya munitsipal'nykh obrazovaniy Irkutskoy oblasti” v svyazi s zaprosom gruppy deputatov Gosudarstvennoy Dumy» [Decree of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 1, 2015 No. 30-P “On the case on the verification of the constitutionality of Parts 4, 5 and 5.1 of Article 35, Parts 2 and 3.1 of Article 36 of the Federal Law “On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation” 1.1 of Article 3 of the Irkutsk Oblast Law “On Certain Issues of the Formation of Local Self-Government Bodies of Municipal Formations of the Irkutsk Region” in Connection with the Request of a Group of Deputies of the State Duma”], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2015, no. 50, art. 7226. (in Russ.).

Postovoy N.V. *Mestnoe samoupravlenie. Problemy i perspektivy* [Local government. Problems and prospects], Moscow, Yurist, 2002, 356 p. (in Russ.).

Postovoy N.V., Tabolin V.V., Chernogor N.N. *Munitsipal'noe pravo Rossii : uchebnik* [Municipal Law of Russia: Textbook], 4 ed., rev. and augm., Moscow, Yurisprudentsiya, 2016, 456 p. (in Russ.).

Saurin A.A. *Pravo sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii: konstitutsionno-pravovye predely realizatsii i ogranicheniya* [Ownership in the Russian Federation: constitutional and legal limits of implementation and limitations], Moscow, Statut, 2014, 351 p. (in Russ.).

Sheremet K.F. *Stanovlenie pravovoy bazy mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii* [Formation of the legal framework of local government in the Russian Federation], *Sheremet K.F., Ovchinnikov I.I. (eds.) Mestnoe samoupravlenie: sovremennyy rossiyskiy opyt zakonodatel'nogo regulirovaniya : ucheb. posobie*, Moscow, Yurist, 1998, 438 p. (in Russ.).

Shugrina E.S. *Ponyatie mestnogo samoupravleniya kak konstitutsionnoy tsennosti* [The concept of local self-government as a constitutional value], *Yurid. mir*, 2016, no. 2, pp. 16-20. (in Russ.).

Stukalov A.V. *Kompetentsiya organov mestnogo samoupravleniya v oblasti zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva* [Competence of local governments in the field of housing and communal services], *Adm. i munitsip. pravo*, 2010, no. 12, pp. 684-690. (in Russ.).

Tikhomirov Yu.A. *Publichnoe pravo* [Public law], Moscow, BEK, 1995, 455 p. (in Russ.).



Руденко В.Н. Делиберативная демократия в аксиологии защиты прав человека // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 4. С. 115–127.

УДК: 342.34:342.57

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.4.115127

ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В АКСИОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Виктор Николаевич Руденко

доктор юридических наук, профессор,

член-корреспондент РАН,

директор Института философии и права УрО РАН,

г. Екатеринбург, Россия. E-mail: rudenkovn@yandex.ru

Материал поступил в редколлегию 14.02.2017 г.

В статье показано, что в основе аксиологии защиты прав человека в современном мире лежат, преимущественно, представления о непартиципаторной (элитарной) демократии. В соответствии с ними важнейшие публично-властные решения принимают органы власти, граждане же участвуют в механизме согласования интересов посредством голосований. В связи с этим ценностной доминантой защиты прав человека является политика интересов, базирующаяся на решениях большинства, выражающих устремления ведущих акторов политической деятельности. Доминирующей стратегией выборных органов власти становится конституционализация норм о правах человека в целях их судебной защиты. При этом права человека воспринимаются гражданами как установленные властью и дарованные ею. Автор показывает, что недостаток такой стратегии заключается в постоянно сохраняющейся угрозе ограничения прав человека со стороны государства. Препятствовать этой угрозе, по его мнению, необходимо не путем отдельных институциональных усовершенствований, а посредством освоения ценностей делиберативной демократии. Им приводится сравнительный анализ ценностей элитарной и делиберативной демократии, подтверждающий тезис о том, что смещение акцента на коммуникативный дискурс в аксиологии защиты прав человека способствует выработке новой стратегии защиты прав человека. Эта стратегия ориентируется на согласование и артикуляцию интересов широкого круга лиц, воспринимающих права человека как общее благо. На основе выработанного подхода автор исследует различные формы проявления делиберативной демократии в аксиологии прав человека, подчеркивая значимость ценностей гражданского контроля и других форм гражданского участия в защите прав человека. Автор приходит к выводу о перспективности партиципаторной модели защиты прав человека в современном мире.

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, аксиология защиты прав человека, непартиципаторная демократия, делиберативная демократия, ценностные доминанты непартиципаторной демократии, ценностные доминанты делиберативной демократии.

Ключевыми для аксиологии защиты прав человека в современном мире являются, главным образом, представления о непартисипаторной (элитарной) демократии, обоснованные в трудах Й.А. Шумпетера [Шумпетер 1995], Ф.А. Хайека [Хайек 1992], К. Поппера [Поппер 1992] и других мыслителей XX столетия¹. Согласно этим представлениям демократия есть форма правления, обеспечивающая состязание политических элит за голоса избирателей. Итог борьбы олицетворяет мандат, уполномочивающий выборные органы власти на принятие всех важнейших публично-властных решений. Таким образом, граждане участвуют в механизме согласования интересов посредством голосований, главным образом, по кадровым вопросам – они голосуют «за» или «против» кандидатов на замещение публичных должностей. Задача граждан состоит в формировании состава выборных органов власти и тем самым в защите политических институтов от угрозы узурпации правителями-тиранами. В связи с этим ценностная доминанта защиты прав человека сводится к политике интересов – борьбе доминирующих групп за власть с целью утверждения своих приоритетов. И данная политика основана на решениях большинства, выражающих устремления доминирующих акторов политической деятельности [Бусова 2002: 46], причем граждане не участвуют непосредственно в управлении делами государства. Редким исключением являются референдумы и другие виды голосований, что предопределяет известные существенные недостатки демократии: так называемую тиранию большинства, а нередко и значимого меньшинства. В этом заключается одна из причин нечестных выборов, некомпетентности выборных должностных лиц, келейности принятия публично-властных решений, неэффективного управления и, как результат, равнодушия граждан относительно своих прав.

Современные правительства стремятся минимизировать многие из названных издержек демократии путем усовершенствования избирательных систем, обеспечения большей открытости деятельности органов власти и управления, в том числе судов, других институциональных усовершенствований. Такие меры заслуживают внимания и поддержки. Но подобного рода стратегии развития демократии, как отмечает Т. Кэмпбелл, не всегда могут рассматриваться в качестве демократической модернизации политической системы общества [Кэмпбелл 2013: 19]. Он обращает внимание на повсеместно распространенную и популярную сегодня, в том числе и в России, стратегию, выражающуюся в конституционализации норм о правах человека в целях судебного контроля: «...Это включение в конституции абстрактных норм о правах человека, чтобы уполномочить суд действовать в качестве гаранта соблюдения демократических процедур и их результатов.

¹ Элитизм Й. Шумпетера – ярчайшее проявление концепций непартисипаторной (элитарной) демократии. Более умеренный вариант этих концепций находят выражение, в частности, в теории консоциативной демократии А. Лейпхарта [Лейпхарт 1997]. В фундаментальном труде российского ученого А.М. Салмина современная демократия, по сути, также проанализирована в качестве непартисипаторной формы правления [Салмин 2009].

Вместе с тем включение в конституции прав человека с целью обеспечения основанного на правах человека судебного контроля (“слабого” или “сильного”) – это политика не только в значительной степени неэффективная, но и не вполне демократичная, а если признать существование права человека на демократию, то и внутренне противоречивая. В целом такие стратегии ни в теории, ни на практике не приносят пользы ни демократии, ни правам человека» [Кэмпбелл 2013: 19].

Действительно, в рамках обрисованной концепции демократии и фундированной на ней системы правления права человека воспринимаются гражданами как установленные властью или дарованные ею. Соблюдение же прав человека выглядит директивой со стороны органов власти. Исполнение этой директивы призваны контролировать суды. Граждане зачастую не интересуются правами и в большинстве своем не участвуют в правозащитной деятельности. Не исключены также эксцессы в плане демократии и прав человека: в случае роста социальной напряженности власть вынуждена лавировать между приверженностью к закрепленным в конституциях правам и свободам человека и желанием их ограничения. Так, рост миграционных потоков в страны Западной Европы и всплеск терроризма в этих странах с начала 2000-х гг. заставили задуматься о возможном ограничении прав человека. В большинстве западноевропейских стран на повестку дня встал вопрос: что важнее – права человека или безопасность? [Баум 2015]. За этим, в частности в Германии, последовало принятие законов о безопасности, на практике ограничивающих фундаментальные права человека: право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, а также на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. То есть речь идет о нарушении наиболее важных естественных, личных прав человека. Желание государства контролировать все потоки информации и предотвращать потенциальные угрозы породило не менее серьезную проблему: под удар попали не только демократические права и свободы, но и собственно основы конституционного строя. Превентивное государство (*preventive state*), стремящееся предотвратить угрозы путем тотального контроля над частной жизнью, в перспективе может перерасти в государство-надзиратель (*supervisory state*), что противоречит современным представлениям о демократическом устройстве и правах человека [Баум 2015: 17-20]¹.

Но даже нормальное функционирование правовой системы в условиях проведения политики интересов затрудняет реализацию и защиту прав человека. Примером тому служит извечный конфликт интересов, с одной стороны, государства и крупных индустриальных корпораций, а с другой – местного населения, отстаивающего право на радиационную безопасность и благоприятную окружающую среду в целом. Аналогично можно оценить конфликт интересов фармацевтических

¹ Об этой опасности еще в 1990-е гг. предупреждали Ю. Хабермас и авторы анализируемых им научных работ [Habermas 1996: 344-353].

компаний, продвигающих на рынок биологически активные вещества, и общественности, выступающей за здоровый образ жизни, и т.п. Более того, правовым системам, относящимся к англо-американской правовой семье, имманентно стремление к изменению, корректировке прав человека. Множество судебных прецедентов применительно к одним и тем же правам человека делает невозможным единообразное толкование норма, закрепляющих данные права, а нередко ведет и к утрате непосредственной связи с ними. Это, в свою очередь, становится барьером для судебной защиты прав человека: «Порождение огромного массива прецедентного права, весьма отдаленно связанного с изначальными текстами, утверждающими права человека, демонстрирует тот факт, что права человека как ценностные суждения создают формально неадекватное право, не соответствующее своим целям в позитивистском суде, основанном на законе» [Кэмпбелл 2013: 25].

Указанные недостатки непартиципаторной демократии побудили к поиску иных моделей демократического устройства и к их теоретическому обоснованию. Одной из весомых альтернативных теорий в современном мире стала концепция делиберативной демократии, основанная на аристотелевской традиции понимания политики как свободного от принуждений и предрассудков взаимодействия равных граждан, которые, вступая в коммуникацию друг с другом, способны выработать решения относительно совместной жизни [Бусова 2002: 45]. Развитие аристотелевской традиции в наше время связано с именами Ханны Аренд, а затем Юргена Хабермаса, который полагал, что «только те нормы действия значимы, с которыми все лица, кого они, возможно, затрагивают, могли бы согласиться, выступая в качестве участников рационального дискурса» [цит. по: Бусова 2002: 48]. Иными словами, сущностным атрибутом делиберативной демократии является рациональный коммуникативный дискурс. С этой точки зрения делиберативная демократия может рассматриваться как разновидность партиципаторной демократии¹, предусматривающей в качестве ведущей формы участия в осуществлении публичной власти коммуникацию, а не голосование. В аксиологии прав человека делиберативная демократия задает следующую стратегию: любой гражданин либо в той или иной мере организованная группа граждан имеют право на участие в обсуждении вопросов, прямо или косвенно затрагивающих их законные права и интересы.

Развитие форм делиберативной демократии – публичных слушаний, консенсусных собраний, обсуждений, дебатов [Gastl J., Levine P. 2005] – существенно меняет аксиологию защиты прав человека. Основные ценностные доминанты делиберативной демократии в системе защиты прав человека сравнительно с ценностными доминантами непартиципаторной демократии можно представить в виде таблицы.

¹ О партиципаторной демократии и ее основных формах см.: [Zimmerman 1986].

Ценностные доминанты непартиципаторной и делиберативной демократии в аксиологии прав человека

Критерий выделения ценностных доминант	Ценностные доминанты непартиципаторной демократии	Ценностные доминанты делиберативной демократии
<i>Сущность политики, проводимой в сфере прав человека</i>	Политика интересов	Публичная политика, основанная на согласовании интересов широкого круга лиц
<i>Доминирующие интересы в сфере прав человека</i>	Групповые интересы	Общее благо
<i>Роль граждан в закреплении и реализации прав человека</i>	Граждане – участники голосования на выборах	Граждане – участники коммуникативного дискурса
<i>Интерес граждан к правозащитной тематике</i>	Ситуативный интерес граждан к правозащитной тематике	Ситуативный или постоянный интерес граждан к правозащитной тематике, влекущий вовлеченность в правозащитную деятельность
<i>Форма влияния граждан на принятие решений в сфере прав человека</i>	Косвенное влияние на принятие решений в сфере прав человека	Прямое влияние граждан на принятие решений в сфере прав человека
<i>Характер восприятия прав человека гражданами</i>	Права человека – директива властей	Артикуляция собственных интересов граждан в сфере прав человека
<i>Ведущие акторы принятия решений по вопросам прав человека</i>	Органы власти и должностные лица – генераторы и субъекты принятия решений в сфере прав человека	Органы власти, взаимодействующие с заинтересованными членами гражданского общества – генераторы и субъекты принятия решений в сфере прав человека
<i>Процедура принятия решений в сфере прав человека</i>	Голосования, совещания должностных лиц	Дискурс (коммуникативное действие)
<i>Характер принимаемых решений в сфере прав человека</i>	Решения большинства	Консенсуальные решения
<i>Возможности произвольного ограничения ранее закрепленных прав человека</i>	Широкие возможности ограничения прав человека	Имеющие предел возможности ограничения прав человека
<i>Основные субъекты контроля над соблюдением прав человека</i>	Суды, правоохранительные органы – субъекты контроля над соблюдением прав человека	Суды, правоохранительные органы, правозащитные организации, группы общественности – субъекты контроля над соблюдением прав человека

Как следует из представленного в таблице материала, смещение акцента на коммуникативный дискурс в аксиологии защиты прав человека способствует выработке новой стратегии защиты прав человека. Целью этой стратегии является не выражение интересов доминирующих в обществе групп, а согласование интересов граждан, их групп, гражданского общества и государства. Граждане как участники коммуникативного дискурса взаимодействуют с органами власти по важнейшим вопросам закрепления и защиты прав человека, артикулируя в этом взаимодействии свои интересы. В итоге меняется понимание самими гражданами целостной системы прав человека, которые воспринимаются ими не в качестве «дара» от государства, а как результат консенсуса всех заинтересованных лиц, но не демократического большинства, что в значительной мере затрудняет произвольное их ограничение со стороны государства.

В современном мире делиберативная демократия имеет различные формы проявления в аксиологии защиты прав человека.

Во-первых, законодатели в ряде стран мира отходят от идеализации ценности сугубо судебного контроля в сфере защиты прав человека, повышая значимость ценности гражданского контроля. В этом плане весьма показателен австралийский опыт. В стране был принят Акт о правах человека (парламентском контроле) 2011 г. (*Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011*) [Human Rights... 2011]. Особенность данного документа, подчеркивает Т. Кэмпбелл, состоит в том, что он не упоминает о роли судов в защите прав человека, а «возлагает ответственность за продвижение и защиту прав человека непосредственно на плечи правительства, гражданского общества и отдельных граждан, обеспечивающих легитимный фундамент, на котором должен вырасти более эффективный и устойчивый прогресс, чем тот, которого можно было бы ожидать от делегирования этой ответственности судам, действующим за рамками своих привычных полномочий» [Кэмпбелл 2013: 33]. Важные шаги в том же направлении предприняты и в Российской Федерации. С введением в действие Федерального закона № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» на уровне законодательства созданы предпосылки для осуществления общественностью (на основе добровольного участия) контрольных мероприятий, в том числе общественных экспертиз, в области защиты прав человека и гражданина. Реализация норм Федерального закона предусматривает проведение общественных обсуждений, общественных (публичных) слушаний с участием всех заинтересованных лиц¹.

Иным, но подобным путем следуют законодатели ряда американских штатов, где присяжные больших жюри, как правило *высших судов штатов (superior courts)*, помимо традиционных своих обязанностей выполняют функции гражданского контроля – так называемые функции *сторожевых псов (watchdog functions)*. В этих штатах, особенно в Калифорнии, большие жюри, все чаще именуемые в последние годы гражданскими большими жюри (*Civil Grand Juries*), наделены чрезвычайно важными полномочиями по

¹ Подробно об этом см.: [Огнева 2015].

контролю и надзору за финансовой, хозяйственной и иной деятельностью должностных лиц и органов публичного управления, за методами и самой системой управления [California Penal code, 2015: § 888-933], что позволяет обеспечить защиту права граждан на хорошее администрирование. Кроме того, присяжные больших жюри осуществляют контроль над соблюдением прав граждан и администрированием в местах ограничения свободы. Все актуальные вопросы, отнесенные к компетенции гражданских больших жюри, подлежат обсуждению присяжными с последующим доведением выводов высшему суду, органам власти штата или публичным агентствам, в отношении которых гражданским большим жюри проводилось расследование, а также органам местного самоуправления [Руденко 2016].

Все эти шаги означают своего рода движение от конституционализации норм в целях судебного контроля к механизмам, основанным на взаимодействии государства и общества, усилении гражданского контроля над тем, что делает государство в области прав человека [Кэмпбелл 2013: 23-24].

Во-вторых, с конца прошлого столетия в общественно-политической жизни Австралии, Германии, США и других стран все большую значимость в сфере защиты прав человека приобретает ценность гражданского участия в формах самоорганизации граждан. Одна из таких форм – *гражданские жюри (Citizen's Juries)* – основана в конце XX столетия Джефферсон-центром (штат Миннесота, США). Данная форма предполагает обсуждение наиболее острых и актуальных публично значимых проблем гражданскими коллегами, создаваемыми каждый раз заново для разбирательства одного конкретного «дела» по сформулированным инициаторами «процесса» вопросам. (Как правило, инициаторами разбирательств выступают организации или органы государственной власти, государственные и другие органы.) Сформированные на основе случайной выборки из нескольких кластеров, выделенных с учетом возраста, уровня образования, социального положения и культурной идентичности местных жителей, гражданские жюри напоминают судебные коллегии присяжных¹. В фокусе внимания гражданских жюри в последнее время находятся различные жизненно важные вопросы публичной политики. Множество из них касается непосредственно защиты прав мигрантов, женщин, инвалидов, коренных народов, молодежи и других социальных групп. Обсуждаются и общие проблемы. В частности, гражданские жюри, формируемые организацией Amnesty International, всесторонне анализируют вопросы предупреждения и прекращения нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации. Так, в Ирландии силами гражданских жюри организацией проводятся обсуждения проблем, связанных с принудительной психиатрической помощью [A Citizens' Jury... 2012: 23-24]. По итогам обсуждений гражданские жюри готовят доклады (*Citizen's jury reports*), адресованные органам власти, в том числе законодательной, причем в поле зрения гражданских жюри попадает все больше вопросов, традиционно относящихся к компетенции

¹ Подробнее о порядке формирования и деятельности *Citizen's Juries* см.: [Руденко 2007].

государственных органов. К примеру, приметой времени стало создание первого в Австралии гражданского жюри по вопросам радиационной безопасности (*Nuclear Citizen's Jury*) [Nuclear Citizen's Jury 2016]. Подготовленный этим гражданским жюри доклад нацелен на защиту экологических прав человека. Распространение упомянутой формы самоорганизации граждан во многих странах мира меняет представления о механизмах современной демократии и защиты прав человека, не позволяя сводить демократию только к борьбе за голоса избирателей. Именно на этом акцентируют внимание организаторы гражданских жюри [What is a citizens' jury? 2016].

В-третьих, парадигма рационального коммуникативного дискурса получила распространение в судебных системах множества государств мира. В аксиологии защиты прав человека все большую значимость приобретают ценности так называемого восстановительного правосудия (*restorative justice*), выходящего за рамки традиционных представлений о системе правосудия и судебной защите прав человека [Зер 2002]. В десятках стран на протяжении многих лет внедряются такие механизмы защиты прав человека, как примирительные процедуры (посредничество, урегулирование, арбитраж), в основе которых лежит диалог, обсуждение. Это открывает новые возможности для защиты гражданских прав. В частности, значительная часть дел в отношении несовершеннолетних рассматривается на посреднических собраниях (*mediation conferences*) или семейных собраниях (*family conferences*). Коренные жители Австралии, к примеру, принимают непосредственное участие в защите прав человека при разбирательстве не только гражданских, но и уголовных дел в судах коренных народов (*indigenous courts*) – в судах народов мурри, коори, нграмбра, судопроизводство, в которых, в отличие от магистратских судов, основано на дискуссиях «за круглым столом» [Marchett, Daly 2004]. В Папуа-Новой Гвинее получили широкое распространение деревенские суды (*village courts*), главной функцией которых является достижение мира и гармонии в сообществе путем принятия мировых соглашений [Jessep 1992]. На Филиппинах еще с середины 1960-х гг. функционирует так называемая система *барангайского правосудия* (от тагальского слова «Barangays» – община, обозначающего наименьшую административную единицу, подобную кварталу) [LGCP, 1991]. Рассмотрение дел, как правило – мелких уголовных правонарушений, в барангаях строится на принципах примирения и арбитража и проводится неформально в неформальной обстановке. Причем в обсуждение проблемы вовлекаются не только посредники (*pangkat*), но и все лица, чьи интересы затрагивает спор (родственники, близкие и др.) [Claridad 2006: 5-6]. Как следует из доклада Организации Объединенных Наций, практики подобного рода являются перспективной формой развития судебной системы и защиты прав человека [ООН... 2007]. Представляется, что в основе сделанного экспертами ООН вывода заложено глубокое обобщение опыта делиберативной демократии, а именно коммуникативных практик в сфере восстановительного правосудия¹.

¹ Детально о формах восстановительного правосудия и существующих в современном мире судебных и квазисудебных практиках, основанных на делиберативной демократии, см.: [Руденко 2011].

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что утверждение принципов и методов делиберативной демократии является одним из определяющих трендов в эволюции аксиологии защиты прав человека в современном мире. Идет становление партисипаторной модели защиты прав человека, отличающейся относительно широкой вовлеченностью гражданского общества в дело продвижения и защиты этих прав. Разумеется, ценностные доминанты делиберативной демократии не подменяют собой описанные выше соответствующие ценностные доминанты непартисипаторной демократии в аксиологии прав человека, выработанные на основе представлений о демократии как элитарной системе правления, в которой важнейшее место занимает конституционализация прав человека и их судебная защита. Не подлежит сомнению роль судов в защите прав человека. Однако справедливо и то, что судебная защита прав человека – это не единственный ответ на возникающие вызовы. Представляется, что в настоящее время механизмы делиберативной демократии выполняют в разных странах мира важную роль в защите прав человека. Они становятся органической частью конституционно-правового механизма защиты прав человека в целом. Посредством этих механизмов осуществляется легитимация прав человека, обеспечивается их признание как со стороны органов власти, так и со стороны гражданского общества. Участие в обсуждении правозащитной проблематики обеспечивает информированность граждан о своих правах. Значение делиберативной демократии в аксиологии прав человека постоянно растет по мере эволюции наших представлений о демократии, свободах и правах человека. Задачей же государства является обеспечение правовых гарантий участия граждан в обсуждении тех проблем прав человека, которые непосредственно затрагивают их законные права и интересы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Баум Г. 2015. Спасти права граждан. Свобода или безопасность: полемические заметки. М. : Сектор. 156 с.
- Бусова Н.А. 2002. Делиберативная модель демократии и политика интересов // *Вопр. философии.* № 5. С. 44-54.
- Зер Х. 2002. Восстановительное правосудие : новый взгляд на преступление и наказание. М. : Центр «Судебно-правовая реформа». 324 с.
- Кэмпбелл Т. 2013. Права человека: демократический путь // *Правоведение.* № 6. С. 17-34.
- Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование / пер. с англ. Б.И. Макаренко. М. : Аспект Пресс. 287 с.
- Огнева Е.А. 2015. Общественный контроль в системе защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. М. 232 с.
- Поппер К. 1992. Открытое общество и его враги. В 2 т. / пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. М. : Феникс : Междунар. фонд «Культур. инициатива».
- Руденко В.Н. 2007. Консультативные общественные советы в системе делиберативной демократии // *Сравнит. конституц. обозрение.* № 4. С. 116-124.

Руденко В.Н. 2011. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире. Екатеринбург : УрО РАН. 644 с.

Руденко В.Н. 2016. Большие гражданские жюри в Калифорнии и их роль в противодействии коррупции // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции. Екатеринбург. С. 287-307.

Салмин А.М. 2009. Современная демократия: очерки становления и развития. М. : ФОРУМ. 384 с.

Хайек Ф.А. фон. 1992. Дорога к рабству : пер. с англ. / предисл. Н.Я. Петракова. М. : Экономика. 176 с.

Шумпетер Й.А. 1995. Капитализм, Социализм и Демократия : пер. с англ. / предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. М. : Экономика. 540 с.

A Citizens' Jury on Legal Capacity Law. Amnesty International Ireland, 2012. Dublin. 68 p.

Claridad G. 2006. Mediation Among Filipinos: Indigenizing and Methods of Mediation into the Philippine Context [Электронный ресурс] // Mediating Cultures in the Pacific and Asia: 3rd Asia Pacific Mediation Forum Conference. 2006, Suva, Fiji. URL: <https://usp.ac.fj/?3965> (дата обращения: 12.02.2017).

Gastl J., Levine P. (eds.) 2005. Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century / ed. by John Gastl and Peter Levine. San Francisco. 308 p.

Habermas J. 1996. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge : The MIT Press. 631 p.

Jessep O. 1992. Papua New Guinea: adultery legislation and jurisdiction of the village courts. Village Courts Act of 1989 // Journal of Family Law. № 30(2). P. 372-375.

Marchett E., Daly K. 2004. Indigenous Courts and Justice Practices in Australia // Trends & Issues in crime and criminal justice. May. № 277. P. 1-6.

Nuclear Citizen's Jury. What are the parts of the Nuclear Fuel Cycle Royal Commission's Report that everyone needs to discuss, 10th July 2016, Adelaide [Электронный ресурс]. URL: <http://assets.yoursay.sa.gov.au/production/2016/07/12/10/28/13/df622a91-cdbb-486d-bbed-20796a4109d5/Nuclear%20Citizens'%20Jury%20FINAL%20Book.pdf> (дата обращения: 12.02.2017).

What is a citizens' jury? ...an innovative means of involving everyday people in the process of government decision-making, 16 February 2016 [Электронный ресурс] // New Democracy. URL: <https://www.newdemocracy.com.au/library/what-is-a-citizens-jury> (дата обращения: 12.02.2017).

Zimmerman J.F. 1986. Participatory Democracy. New York : Praeger. 229 p.

ООН. Базовый документ, составляющий часть докладов государств-участников. Австралия. 7 августа 2007 [Электронный ресурс] URL: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/HRI.CORE.AUS.2007.ru.doc> (дата обращения: 12.02.2017).

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (ред. от 3 июля 2016 года) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 30, ч. 1. Ст. 4213.

California Penal Code [Электронный ресурс] // 2015 California Code. URL: <http://law.justia.com/codes/california/2015/code-pen/> (дата обращения: 12.02.2017).

Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011. № 186, 2011 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00186> (дата обращения: 12.02.2017).

LGCP – Local Government Code of the Philippines – (Local Government Code of 1991) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pcij.org/blog/wp-docs/LGC1991.pdf> (дата обращения: 12.02.2017).



V. Rudenko. Deliberativnaya demokratiya v aksiologii zashchity prav cheloveka [Deliberative democracy in axiology of human rights' protection], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 4, pp. 116-99. (in Russ.).

Viktor N. Rudenko, Doctor of Law, Full Professor, Corresponding Member of the RAS, Director, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: rudenkovn@yandex.ru.

Article received 14.02.2017, accepted 29.05.2017, available online 01.11.2017

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN AXIOLOGY OF HUMAN RIGHTS' PROTECTION

Abstract. The article shows that human rights protection axiology in the contemporary world is based primarily on the perception of non-participatory (elitist) democracy. That perception presumes that the state bodies make the most important public decisions without active citizens' participation. Therefore, the policy of interests, which is based on the decisions of majority and on the expression of intentions of the main political activity's actors, becomes the value dominance in human rights protection. The dominant strategy of the elective state bodies is the constitutionalization of human rights' norms aimed on their judicial protection. At the same time, citizens perceive human rights as established and bestowed by the state powers. The author argues that the disadvantage of such strategy is the permanent threat of human rights' restriction coming from the state. In his opinion, it is necessary to prevent that threat not through making the particular institutional improvements, but through appropriating values of deliberative democracy. The author provides comparative analysis of the elitist and deliberative democracy values. The article demonstrates that the shift towards an emphasis upon communicative discourse in human rights' axiology contributes to the development of the new strategy in human rights protection. Such strategy is based on the accommodation and articulation of the interests of public, which perceives human rights as a public good. Based on such assumption, the author describes different forms of manifestation of the deliberative democracy in human rights' axiology. He underlines the value of citizens' control and other forms of citizen participation for human rights protection. The author concludes about prospective viability of the participatory model of human rights protection in the contemporary world.

Keywords: human rights, human rights protection, axiology of human rights protection, non-participatory democracy, deliberative democracy, the dominant values of non-participatory democracy, the dominant values of deliberative democracy.

References

- A Citizens' Jury on Legal Capacity Law. Amnesty International Ireland.* Dublin, 2012. 68 p.
Baum G. *Spasti prava grazhdan. Svoboda ili bezopasnost': polemicheskie zametki* [To save the rights of citizens. Freedom or safety. Polemical notes], Moscow, Sektor, 2015, 156 p. (in Russ.).

Busova N.A. *Deliberativnaya model' demokratii i politika interesov* [Deliberative democracy and policy interests], *Voprosi filosofii*, 2002, no. 5, pp. 44-54. (in Russ.).

California Penal Code, *2015 California Code*, available at: <http://law.justia.com/codes/california/2015/code-pen/> (accessed 12 February 2017).

Campbell T. *Prava cheloveka: demokratcheskiy put'* [Human Rights: a democratic way], *Pravovedenie*, 2013, no. 6, pp. 17-34. (in Russ.).

Claridad G. Mediation Among Filipinos: Indigenizing and Methods of Mediation into the Philippine Context, *Mediating Cultures in the Pacific and Asia: 3rd Asia Pacific Mediation Forum Conference, 2006, Suva, Fiji*, available at: <https://usp.ac.fj/?3965> (accessed 12 February 2017).

Federal'nyy zakon ot 21 iyulya 2014 goda № 212-FZ «Ob osnovakh obshchestvennogo kontrolya v Rossiyskoy Federatsii» (red. ot 3 iyulya 2016 goda) [The Federal Law from 21.07.2014 number 212-FZ (ed. from 03.07.2016) «On fundamentals of public control in the Russian Federation»], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2014, no. 30, pt. 1, art. 4213.

Gastl J., Levine P. (eds.) *Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*, San Francisco, 2005, 308 p.

Habermas J. *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, The MIT Press, 1996, 631 p.

Hayek F.A. fon. *Doroga k rabstvu* [The Road to Serfdom], Moscow, Ekonomika, 1992, 176 p. (in Russ.).

Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011. № 186, 2011, available at: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00186> (accessed 12 February 2017).

Jessep O. Papua New Guinea: adultery legislation and jurisdiction of the village courts. Village Courts Act of 1989, *J. of Family Law*, 1992, no. 30(2), pp. 372-375.

LGCP – Local Government Code of the Philippines – (Local Government Code of 1991), available at: <http://www.pcij.org/blog/wp-docs/LGC1991.pdf> (accessed 12 February 2017).

Lijphart A. *Demokratiya v mnogostavnykh obshchestvakh: Sravnitel'noe issledovanie* [Democracy in plural societies: A comparative exploration], Moscow, Aspekt Press, 1997, 287 p. (in Russ.).

Marchett E., Daly K. Indigenous Courts and Justice Practices in Australia, *Trends & Issues in crime and criminal justice*, 2004, may, no. 277, pp. 1-6.

Nuclear Citizen's Jury. What are the parts of the Nuclear Fuel Cycle Royal Commission's Report that everyone needs to discuss, 10th July 2016, Adelaide, available at: <http://assets.yoursay.sa.gov.au/production/2016/07/12/10/28/13/df622a91-cdbb-486d-bbed-20796a4109d5/Nuclear%20Citizens'%20Jury%20FINAL%20Book.pdf> (accessed 12 February 2017).

Ogneva E.A. *Obshchestvennyy kontrol' v sisteme zashchity prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Rossiyskoy Federatsii: konstitutsionno-pravovoe issledovanie : dis. ... kand. yurid. nauk* [Public control in the protection of man and citizen rights and freedoms in the Russian Federation: constitutional-legal research: dissertation], Moscow, 2015, 232 p. (in Russ.).

OON. Bazovyy dokument, sostavlyayushchiy chast' dokladov gosudarstv-uchastnikov. Avstraliya. 7 avgusta 2007 [United Nations. Core Document forming part of the reports of states parties. Australia (7 August 2007) HRI/CORE/AUS/2007], available at: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/HRI.CORE.AUS.2007.ru.doc> (accessed 12 February 2017). (in Russ.).

Popper K. *Otkrytoe obshchestvo i ego vragi. V 2 t.* [The Open Society and Its Enemies, in 2 vols.], Moscow, Feniks, Mezhdunarodnyy fond «Kul'turnaya initsiativa», 1992.

Rudenko V.N. *Bol'shie grazhdanskie zhyuri v Kalifornii i ikh rol' v protivodeystvii korrupsii* [Civil Grand Juries in California and their role in combating corruption], Rudenko V.N. (resp. ed.) *Aktual'nye problemy nauchnogo obespecheniya gosudarstvennoy politiki Rossiyskoy Federatsii v oblasti protivodeystviya korrupsii*, Ekaterinburg, 2016, pp. 287-307. (in Russ.).

Rudenko V.N. *Konsul'tativnye obshchestvennye sovety v sisteme deliberativnoy demokratii* [Community councils in the system of deliberative democracy], *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie*, 2007, no. 4, pp. 116-124. (in Russ.).

Rudenko V.N. *Uchastie grazhdan v otpravlenii pravosudiya v sovremennom mire* [Citizen participation in judiciary in contemporary world], Ekaterinburg, UrO RAN, 2011, 644 p. (in Russ.).

Salmin A.M. *Sovremennaya demokratiya: ocherki stanovleniya i razvitiya* [Modern democracy: Essays on its formation and development], Moscow, FORUM, 2009, 384 p. (in Russ.).

Schumpeter J.A. *Kapitalizm, Sotsializm i Demokratiya* [Capitalism, Socialism and Democracy], Moscow, Ekonomika, 1995, 540 p. (in Russ.).

What is a citizens' jury? ...an innovative means of involving everyday people in the process of government decision-making, 16 February 2016, *New Democracy*, available at: <https://www.newdemocracy.com.au/library/what-is-a-citizens-jury> (accessed 12 February 2017).

Zehr H. *Vosstanovitel'noe pravosudie : novyy vzglyad na prestuplenie i nakazanie* [Restorative Justice: a New Look at Crime and Punishment], Moscow, Tsentr «Sudebno-pravovaya reforma», 2002, 324 p. (in Russ.).

Zimmerman J.F. *Participatory Democracy*, New York, Praeger, 1986, 229 p.

Требования к авторам

1. Автор отправляет на редакционную почту admin@instlaw.uran.ru рукопись статьи в электронном варианте в формате .doc.

2. Статьи должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право. Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи представляются на русском языке.

3. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не принимаются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

4. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование: имена автора и рецензентов не раскрываются друг другу. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии и международного редакционного совета, так и внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Срок рассмотрения статей – не более 2-х месяцев с момента поступления рукописи в редакцию.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена автору на доработку или отклонена. В случае принятия к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплекзует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

7. Рекомендуемый объем статьи – 30–60 тысяч знаков (с пробелами). Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. При использовании в тексте кавычек применяются типографский вариант («»). Тире обозначается символом «-» (среднее тире); дефис «-».

8. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

9. Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, занимаемая должность, место работы, электронная почта. В левом верхнем углу указывается код УДК.

После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее гипотезу, основные положения и выводы. Объем аннотации не менее 2000 знаков с пробелами. После аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–10).

10. Внутритекстовые ссылки оформляются в квадратных скобках, в которых указываются фамилия (фамилии) автора или составителя (главного или ответственного редактора), или основное заглавие (если авторство нельзя установить), далее через пробел указывается год издания, затем через двоеточие – страницы цитаты, либо статьи правового акта, на который ссылается автор. Например: [Булгаков 1994: 203-204].

11. Библиографический список представлен двумя блоками – Списком литературы по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и References.

В Списке литературы указываются научные источники, первоначально авторские работы на русском языке в алфавитном порядке, затем источники на иностранных языках. При наличии нескольких источников одного автора, вышедших в одном календарном году, данная группа записей располагается по алфавиту заглавий, а к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c, d, что отражается и во внутритекстовых ссылках.

References – список литературы, где источники на кириллице даны в транслитерации и в переводе на английский язык (фамилия автора, название журнала, сборника – в транслитерации; заглавие монографии или статьи, место издания – в переводе), английские источники приводятся без изменений. Источники на иных языках также даются в переводе на английский язык. Весь массив записей располагается в алфавитном порядке.

Примечания, ссылки на Интернет, нормативно-правовые акты, статистические данные, газеты и иные данные публицистического характера оформляются в виде постраничных ссылок.

При ссылке на книги указывается количество страниц в книге. При ссылке на статью указывается диапазон страниц (например: С. 13-29).

12. К статье должны быть приложены переводы на английский язык: имени и фамилии автора; должности и места работы; контактной информации; названия статьи; аннотации и ключевых слов.

13. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары авторам не выплачиваются.

14. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к авторам и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

Manuscript conditions

1. Manuscript in doc. format should be sent to the editorial board's email admin@instlaw.uran.ru.

2. Manuscript submitted to the Journal should relate to Journal's subject areas, which include philosophy, political science and law.

3. Previously published papers are unacceptable.

Manuscripts should be submitted in Russian only.

4. If the paper doesn't comply with the subject-matter of the Journal or formal requirements it excludes from further consideration, the author is notified about it.

5. Every manuscript submitted to the Journal is a subject for double-blind review, which means that the identities of reviewers are concealed from the author, and vice versa. Reviewers are experts in the same subject area as the paper submitted. The paper is assigned for reviewing to experts, who are members of the editorial board or the international editorial council, as well as to independent experts. If the first reviewer accepts the paper, while the second reviewer rejects it, the paper will be passed for evaluation to the third reviewer or the decision on acceptance or rejection will be made by the editorial board itself. The procedure for review and approval of papers takes no more than two months.

After reviewing the article may be accepted for publication, sent to the author for revision or rejected. If accepted for publication the paper is placed in the portfolio of editorial board for further publication.

6. The editorial board retains reviews during 5 years. If needed, the editorial board sends reviews or notes of reasoned refusal to the authors. If requested, the editorial board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation.

7. The Journal normally publishes papers between 30000 and 60000 characters in length (with spaces). The texts should be typed using Times New Roman, font size 14, 1.5 spaced, justified alignment, 1 cm. paragraph indentation, 3 cm. left margin, 1,5 cm. right margin, 2 cm. top and foot margins. French quotation marks «», dash «-», hyphen « - » should be used in the text.

8. Illustrations, diagrams and tables should be numbered and named. Illustrations, diagrams and tables should be both placed within the text of the manuscript and provided in a separate file.

9. Titles of papers should be centered, capitalized, semi-bold and typed using Times New Roman, font size 14. The author's personal data (full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail) should be placed in the top-right corner above the title of the manuscript. UDC, if possible, should be placed in the top-left corner of the manuscript.

The abstract should be placed below the paper's title and be no less than 2 000 characters (with spaces). It should summarize the hypothesis and key results presented in the paper. From 5 to 10 keywords are also required.

10. References should be placed within the text in square brackets []. In-text references should include the author's last name or the editor's last name, or the title of the source (for sources with no author named), as well as the year of publication and page reference (or article of the normative legal act). Example: [Jameson 2009: 167].

11. After-text bibliography includes the List of sources and References. the List of sources and references should correspond to the requirements of GOST 0.5–2008 «Bibliograficheskaja ssylka. Obshhie trebovanija i pravila sostavlenija».

The List of sources should be composed alphabetically. It should be organized in the following order: sources in Russian (books and articles); sources in foreign languages (books and articles). If there are two or more sources by the same author in the same year, lower-case letters (a, b, c, d) with the year should be used. The lower-case letters with the year should be added to the in-text references as well.

References is the List of sources which should be transliterated and translated into English (author's last name, title of the journal or collection should be transliterated; title of the monograph or article, and the place of publication should be translated into English). Titles in other languages should be translated into English as well. List of References should be alphabetized.

Notes, citations to the Internet sources, legal normative acts, statistical data and newspapers should be placed in the footnotes.

Description of books and articles listed in after-text bibliography should contain number of pages, while description of articles should contain page ranges. Example: P. 13-29.

12. The author should also submit a separate file containing the following information in English: full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail, as well as title of the paper, abstract and keywords.

13. Publication of accepted papers is free of charge. Honorarium is not paid to the author.

14. In addition to the manuscript, the author provides written consent to display published paper in the electronic databases, as well as written consent to make public his/her personal data.

More detailed information for authors as well as samples of papers, abstracts et al. are provided at the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 17

Выпуск 4

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института философии и права
Уральского отделения РАН*

Ответственные за выпуск
В.С. Мартьянов, В.В. Эмих

Редактор *Н.М. Юркова*
Корректоры *А.И. Никонова, Е.М. Олову*
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовский*
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РА4»*

Подписано в печать 21.12.2017 г. Формат 70x100/16
Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 9,8 Уч.-изд. л. 8,9
Тираж 500 экз. Заказ №

Институт философии и права УрО РАН.
620990. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134